



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Slav
4998
954(1908)
2



Slav 4998.954 ($\frac{1908}{2}$)



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



1908.

РІЧНИК XI.

ТОМ XLI.

КНИЖКА II.

ЗА ЛЮТИЙ.

ЗМІСТ :

ЛЕСЯ УКРАЇНКА : Касандра (драматична поема) (кінець)	241
МИХ. ГРУШЕВСЬКИЙ : Культурно-національний рух на Україні в другій половині XVI в.	282
ХРИСТЯ АЛЧЕВСЬКА : Я сонце волі викликала	296
МАРКО ВОВЧОК : Пройди-світ	297
Д. ДОРОШЕНКО : Марія Заньковецька	312
ЧЕРНЯВСЬКИЙ : Море (поезії)	320
ІВ. ФРАНКО : Сучасні до-слідди над святим пись-мом	326
Н. РОМАНОВИЧ : Лілія	337
О. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ : Нові гадки про поход-ження людини	346
КУРД ЛЯСВИЦ : Блискавка в неволі, пер. Ів. Франко	354
Ю. БУДЯК : Любов	360
М. ГЕХТЕР : Чи можлива в нас інтенсифікація се-лянського хліборобства	361
П. КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ : Школі	368
АЙТОН СІНКЛЕР : Нетри, пер. М. Левицького	369
МИХ. МОЧУЛЬСЬКИЙ : Поезії Стефана Чарнець-кого	394
МИК. СТРИЩИНСЬКИЙ : Даваймо жить	399
Ф. МАТУШЕВСЬКИЙ : З ук-раїнського життя.	400
М. ЛОЗИНСЬКИЙ : З ав-стрійської України.	415
В. ПІСНЯЧЕВСЬКИЙ : З ро-сійського життя	426
Бібліографія.	439
Книжки надіслані до ре-дакції.	447
Оголошення.	
Зміст третьої книжки.	

ЛІТЕРАТУРНО
НАУКОВИЙ
ВІСТНИК

КИЇВ—ЛЬВІВ

Друкарня 1-ої Київської Друкарської с
Трьохсвятительська 5. Телеф. 1



КНИГАРНЯ

Літературно-Наукового Вістника

має на складі видання львівської Видавничої Спілки і Наукового Товариства ім. Шевченка.

ЗАПИСКИ

Українського наукового товариства в Києві

Виходитимуть від р. 1908.

Передплата на першу серію: 5 р., для студентів, учеників, народніх учителів 3 р., для членів товариства 2 р. — Приймають ся в бюро Товариства, при редакції Л. Н. Вістника.

Вийшов з друку і продаєть ся в Українській книгарні (б. ред. „К. Ст.“) Київ, Безаківська, 8, в Київській книгарні Л.-Н. Вістника і в Книгарні Н.-Тов. ім. Шевченка у Львові, Театральна 1.

Збірник I-й. **„ДЗВІН“** Збірник I-й

Зміст: С. Черкасенко—Дзвін, вірші; В. Винниченко—Щаблі життя, пєса на 4 розділи. С. Черкасенко—Монолог, вірш; М. Коцюбинський—В дорозі, оповід.; В. Левінський—Націон. пит. в Австрії і соц.-демократія; В. Ст.—Українська політика; Д. Сергієнко—До питання про аграрну програму. Обсяг збірника—270 стор., ціна 1 р. 10 к. Книгарням звичайна знижка. Склад видання в Українській книгарні.

Склад видань проф. М. Грушевського

по історії України й українському питанню

в книгарні Літературно-Наукового Вістника Прорізна 20, кв. 3.

РАДА

Рік видання третій

газета політична, економічна і літературна

Виходить у Києві що-дня, окрім понеділків

Умови предплати з приставкою і пересилкою в Росії:

на 1 рік.	на 11 міс.	на 10 міс.	на 9 міс.	на 8 міс.	на 7 міс.	на 6 міс.	на 5 міс.	на 4 міс.	на 3 міс.	на 2 міс.	на 1 міс.
6.	5.70	5.20	4.75	4.25	3.75	3.25	2.65	2.25	1.75	1.25	65

Редакція і головна контора: Київ, Підвальна 6.

Редактор М. ПАВЛОВСЬКИЙ.

Видавець Е. ЧИКАЛЕНКО.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА.

Касандра.

(Драматична поема).

(докінчене).

V.

Покий Касандри. Нема нікого.

Д е і ф о б (ввіходить). Касандро! сестро! де се
ти? Рабині!

(плече в долоні і гукає).

Рабині, гей!

(З сусіднього покою увіходить рабиня старенька).

Р а б и н я. Що, владарю?

Д е і ф о б. Та що се,

Невже моя сестра служниць не має,
що й не докликеш ся нікого?

Р а б и н я. Вже-ж,

Пророчиця рабинь всіх розпустила,
казала: годі вже тих царських звичок,
час привикати без рабинь до праці,
бо хутко здасть ся.

Д е і ф о б. От нові ще примхи!

А ти чия?

Р а б и н я. Царівни Поліксени.

Д е і ф а б. Ну, все одно, піди повлич сестру.

Р а б и н я. Котору? Поліксену?

Д е і ф о б. Ні, Касандру,

та хутко.

Р а б и н я (йде, ворхотячи).

Хутко! бач, який швидкий,

Старі вже ноги в мене, де тут хутко...

(на порозі).

Та он вона й сама... Царівно, швидче

там братік дожидаєть ся... (виходить)

К а с. (з вузількою за поясом і з веретеном іде, прядучи).

Витаю.

Д е і ф о б. І що ти справді вигадала, сестро?
рабинь всіх розпустила, а сама
вужілки з рук не випускаєш.

К а с. Брате,
воно завчасу краще привикати
до неминучого.

Д е і ф о б. Се рабська мова!
Царівна так би не сказала з роду.

К а с. А що ж казати?

Д е і ф о б. „Або царювати,
або загинути“!

К а с. Ми всі загинем,
та не царюючи.

Д е і ф о б. Дай спокій, сестро,
і не частуй мене пророкуваннем.
Се чисте горе: брат — пророк, сестра —
пророчиця, нема де простушити
у власнім домі за віщунством рідних.
Ось ти взяла вужілку, се й гаразд,
казати правду, дівчині се личить
далеко краще, ніж пророча мова,
О то ж пряди й не пророкуй.

К а с. Я, брате,
сама б раднїйша прядти білу вовну,
ніж віщувати всім нам чорну долю.

Д е і ф о б. Пряди, пряди, — ниток багато білих
зарученій потрібно на весїлле,
на шлюбні шати й на дари для гостей.

К а с. Се й ти вже, брате, бачу, у пророках,
та шкода, що не в пору й не до речі.
(ображена відвертаєть ся).

Д е і ф о б. І в пору і до речі. Я, сестрице,
не звик даремне марнувати мову.
Як що кажу, то, значить, варто слухать,
а ти, хоч і віщунка, та сама
своєї долі, видно, не вгадаєш,
то я тобі скажу: ми заручили
тебе осе тепер за Ономаю,
царя лідійського.

К а с. Заранї, брате,

говориш ти мені: „ми заручили“,
бо ще ж я не рабinya поки що
і маю власну волю.

Д е і ф о б. Ні, Касандро,
бо кожна дівчина, чи то рабinya,
чи то царівна, слуха родини.

К а с. Я, брате, й не рабinya й не царівна,
а більше й менше, ніж вони обидві.

Д е і ф о б. Я не для загадок прийшов сюди,
не для пустих розмов. Кажу виразно,
що ти заручена. Царь Ономай
тебе собі жадає в надгороду
за спілку й поміч проти ворогів.
Хвалив ся він, що піде в бій сьогодні
і всіх своїх Лідійців поведе
і що не зайде сонце, як вже буде
розбите в пень усе вороже військо.
„Коли се правда, ми сказали, завтра
ти поведеш Касандру до намету“.

К а с. Хіба що так! „коли се правда“... Власне,
що се неправда.

Д е і ф о б. Я не сподівав ся,
що ти, Троянка і дочка Пріяма,
так самолюбно можеш відриватись
подать ратунок Трої і родині.
Атрідова дочка була величнійш,
не дарма Елїни проти Троянок
так величають ся, бо вийшла з них
славутня Іфігенія, що радо
житте своє дівоче положила
за славу рідного народу.

К а с. Брате,
не знаєш ти ціни жіночим жертвам,
а я тобі кажу: з усіх жінок
славутня Іфігенія сложила
ще не найбільшу й не найтяжчу жертву.
Ох, скілько тяжчих, хоч безславних жертво
зложили ті жінки, що не лишили
імення по собі! Як-би схотів ти
від мене жертви крови, певне б я

Її здолала дати, але сеї —
не можу, брате, я не героїня.

Д е і ф о б. Так, я се бачу, ти сестра Паріса,
але не Гектора. Наш Гектор міг
житте віддати, жінку залишити,
осиротити сина для ратунку,
або для чести Трої. А Паріс
готовий для Гелени загубить
весь рідний край. О так і ти, Касандро,
для тіни млявого свого Дольона,
хоч сам він був зрадливий проти тебе,
готова всіх нас утопити.

К а с. Брате!

не ображай загубленої тіни!
Ти кажеш, млявий був Дольон, зрадливий?
Чому ж той млявий та пішов на згубу,
на смерть видиму в той час, як ніхто
з моїх братів — героїв не одваживсь?
Либонь тому, що Гектор вже був мертвий,
а Деїфоб одважний тільки словом.

Д е і ф о б. Старий я для розвідок. Ти-ж Касандро,
ще молода, щоб старшого судити.

К а с. Над всіх старших найстарша П р а в д а, брате.

Д е і ф о б. Лишим. Хто вмер, не встане. Річ не в сьому,
а в тому, що повинна ти вчинити
для щастя й для ратунку всеї Трої.

К а с. По чім-же знаєш ти, що в тім ратунок?

Д е і ф о б. Я знаю те, що се остатня змога.
Чи ти даси ратунок — невідомо,
але повинна ти вчинить сю пробу.
Коли убють Лідійця — люди скажуть:
„Щож, не судилось!“ А як ти відмовиш,
то скажуть всі, що ти нас загубила.
Царь Ономай до тебе зараз прийде,
Щоб ти йому сама сказала слово.
Єдине слово „згода!“ — і Лідійці,
установлені до бою, рушать зараз.

К а с. Мій брате, се була-б потрійна зрада —
себе самої, правди і Лідійців,
бо я отим одним — єдиним словом

погнала б на погибель ціле військо.

Д е і ф о б. Миліш тобі чужинці, ніж родина!

К а с. А на що ж нам даремне їх губити?

е вратував нас Гектор богорівний,

Куди ж своєму Лідійцеві!

Д е і ф о б Касандро,

забула ти, що був тоді Пелід

теж богорівний цей богорожденний,

тепер його нема.

К а с. Так говорила

Пентезілея, красна амазонка,

що згнула за Трою без пори.

Д е і ф о б. Та що Пентезілея! все ж то жінка! — не жінці

вратувати Іліон.

К а с. Се правда, брате, отже й не Касандрі.

Д е і ф о б. (Гнівно). Гей, не чіпляйся до слів!

С т а р а р а б и н я (входить).

Там той, чужий,

все домагаєть ся, чому не кличуть.

К а с. Скажи йому, щоб він ішов сюди,

а ти лиши нас, брате.

Д е і ф о б. Що ж ти скажеш?

К а с. Що бог мені звелить.

Д е і ф о б. Ну, пам'ятай,

як тільки бог звелить сказати: „не згода“, —

до тебе ймення зрадниці пристане

від нині і до віку.

К а с. Деіфобе!

Д е і ф о б. Я перший прикладу його до тебе

прилюдно, на майдані. Пам'ятай.

(виходить).

О н о м а й. (входить і спиняєть ся у порога. Мовчанка).

Царівно, радуй ся.

(Касандра мовчить).

Я соромливість

високо поважаю, але все ж

бажав би я таки почути слово,

хоч те єдине, що мені належить.

К а с. Ти певен, що воно тобі належить?

О н о м а й. Твій батько й брат заневнили мені
те слово.

К а с. Так від них ти й чув його,
а я тобі його не запевняла,
та ти ж і не просив і не питав,
а хочеш просто взяти, я належне.

О н о м а й. Прости, царівно, знаю що дівчата
солодкі речі люблять, але я
не вдався до того. В мене річ коротка,
не ти мене, а я тебе посватав,
то, значить, уподобав, справа ясна.
Адже тебе за жінку я бажаю.

К а с. Як можеш ти мене бажать за жінку?
Ти ж бачиш, я душею не твоя.

О н о м а й. Як буде мій-сей стан і сії очі
і сії уста, вся горда пишна постать,
то де ж із них подінеть ся душа?
адже й вона тоді мою буде.

К а с. Не більше, ніж душа твоїх рабниць.

О н о м а й. Не прикладай сюди рабниць, Касандро!
Царицею ти будеш так, як личить
моїй дружині і дочці Пріама.

К а с. Не личить їй десь по неволі жити,
хоч би й царицею.

О н о м а й. Я ж не беру тебе
рукою збройною, по волі підеш.
Я міг би прилучитись до Ахайців
і зруйнувати Трою і забрати
тебе в полон, але я чесно хочу
тебе від батька взяти, заслуживши
послугою великою.

К а с. Купити
мене ти хочеш, царю?

О н о м а й. Всі герої,
найбільші навіть, купували так
собі жінок.

К а с. То не було геройство.
Герой користи не шукає з роду.

О н о м а й. Геройство мусить мати надгороду;
се і боги і люди признають.

К а с. Хіба не досить слави?

О н о м а й. Слави маю
Я й так, царівно, досить, а дружини
не маю ще, от і беру тебе.

К а с. Уже й береш? Я ще не відаю ся.

О н о м а й. Царівно, правду мовити, я честь
хотів, тобі, питаючи, зробити,
Як жриці божій і царівні Трої,
а в нас у Лідії нема звичаю
дівчат питати, коли батько згоден.

К а с. Знай, Ономаю, шлюб такий не буде
з Касандрою щасливий.

О н о м а й. Не лявай,
пророчице, мене пророкуваннем.
Я думаю, що й доля любить сильних,
одважних і рішучих; кожна жінка
повинна їх любити, а не любить,
то мусітиме полюбити.

К а с. Царю,
не знаєш ти мене, що так говориш.

О н о м а й. Жінок я досить знаю.

К а с. Та Касандра
ще не була між ними.

О н о н а й. От тому
я й хочу взяти її.

К а с. На лихо взяв би!
я не люблю тебе.

О н о м а й. Полюбиш!

К а с. Ні, ніколи
не полюблю того, хто так підступно
скористав з нашої недолі.

О н о м а й. Хто так славно
твій край відратував?

К а с. Не квап ся, царю,
то ще лежить у Зевса на колінах.

О н о м а й. А як би стало так?

К а с. Я оборонцю
хвалу і дяку склала б, як би він
покинув вимагати в надгороду
мене...

О н о м а й. Я бачу, ти, царівно, мудра!
„хвала і дяка“ — от і вся заплата.
Та се я дам якому злидареві
від свого столу мяса, то й почую
хвали і дяки досить.

К а с. Чи ти бачив,
як оборонця визволені славлять?

О н о м а й. Не раз, не два! Скажу тобі, царівно,
що переможця і не так ще славлять
подолані. Я й те і друге знаю —
ціна обом однакова, бо все то
безсилля силу славить. Але силу
віддати за таке — збожеволіти!
Я не безумний. Голову нести,
губити військо, щоб „хвалу і дяку“
сказав хтось по троянськи? Я се дома
почую по лідійськи від жіноцтва,
як військо приведу назад без бою.

(Мовчанка).

Так що ж, царівно?

(Налагожуєть ся йти. Касандра мовчить, але видимо бореть ся з собою, Ономай барить ся, завваживши се).

Д е і ф о б (увиходить. Завваживши нерішучі постави обоїх,
проникливо і грізно дивись ся на Касандру).

Згода, сестро?

К а с. Згода!

О н о м а й. По щирости?

К а с. Як голову нести,
губити військо ти готов за теє,
щоб я сказала: „Сі уста твої,
ся постать, сії очі“, — добре, згода.
Коли твій люд готов своїх жінок
лишити вдовами, аби цареви
здобути наречену, — добре, згода.
По щирости кажу!

О н о м а й. Чудна у тебе,
Касандро, щирість. Ну, та годі
змагати ся словами, час іти,
щоб заслужити ділом надгороду.

К а с. Які діла, така і надгорода!

Прощай же, Ономаю!

О н о м а й. Будь здорова.

(Ономай і Деїфоб виходять. З надвору чутно глухий лемент великої юрби).

П о л і к с е н а. (вбігає).

Касандро, пробі, що ти наробила?

К а с. Я мусіла, сестрице, дати слово.

П о л і к. Так ти дала? Так,
значить, то неправда?

К а с. (холодно).

Ти, Поліксено, чиниш, мов безумна;
не знаєш, за що і кориш і хвалиш.

П о л і к. Хвалю за те, що ти вволила волю
і батька, й брата і всеї родини.

К а с. То, значить, і твою?

П о л і к. Та що ж, сестричко,
видима смерть страшна.

К а с. А для ратунку
не варто жалувать хоч і сестри?

П о л і к. Але ж тобі там буде добре, люба,
царицею у Лідії багатій,
її ж недарма золотою звать.

К а с. На золото Касандра не жадібна,
і з неї досить одної обручки.

(Дивить ся на Дольонову обручку на своїй правиці).

П о л і к. (Пестить її).

Сестриченько, я знаю, як се тяжко
забути милого, так на що ж мертвим
щось инше, крім волосся, сліз і жертви?
Дольонові ти справиш гекатомбу,
Як богови, бо Лідія багатша
від Трої, там царицею ти будеш.

К а с. За нелюбом?

о л і к. Та що робити, сестро?

Чи то ж багато є таких, що йдуть
по волі й по любови? Се вже доля
така жіноча слухати не серця,
а волі рідних, — добре ще, як рідних,

а то ж не раз і переможець гордий
примусить бранку за дружину стати.
Он Деїфобова Антея йшла
за нього по неволі, а про теє
тепер вона йому дружина вірна
і дітям ніжна мати.

К а с. Поліксено,
а як би знов посватали тебе
після Пеліда за якого небудь?

П о л і в. Та що ж... я знаю, другого не буде
такого, як Пелід, але ж мені
до віку дівувати не годить ся
і я пішла б, як би хто до пари,
як не дружину, то діток любила б,
як не коханне, то хоч господарність,
покірливість і вірність принесла б
дружині в посаг.

К а с. А як би не мала
нічого, крім ненависти й прокльонів,
то що б ти принесла своїй „дружині“?

П о л і в. Яка ти знов страшна, як се говориш!
Касандро, признавай ся, значить, правда,
що ти його кляла і віщувала
йому й Лідійцям згубу?

К а с. Відки знаєш?

П о л і в. (трошки збентежена).
Мої рабині під вікном були,
сушили вовну, чули ненароком
розмову вашу. І не знаю, як
твої слова передались Лідійцям.
Ти чула гомін? То гукало військо
Лідійське: „Царю, ми не йдем на згубу,
Касандра заклила! Ми йдем до дому!
Хай гине Троя, як їй те судилось!“
І вже три лави подались до дому.

К а с. (мимохить). Хвала богам!

П о л і в. Касандро! безсоромна!

К а с. Алеж вони б загинули всі марне,
бо се ж їх смерть — заручини мої!

П о л і в. То нащо ж ти дала цареві слово?

К а с. Не обертай меча в горячій рані!

Се нечесть, Поліксено, тяжкий сором
на голові моїй, отее слово.

Се примус і ненависть промовляли
ганебне слово, а не я. Ой, сестро!

Я так його ненавиділа палко,
його і все його безглузде військо,
оту торбу рабів! Я радо, щиро
промовила — їм на погибель — „згода“!

П о л і в. Страшна, незрозуміла ти, Касандро!

А н д р о м а х а. (увиходить).

Хвала богам! Пішли таки Лідійці!
пішли на бій. Царь Ономай сказав:
„Я маю слово згоди від Касандри“.
Гелен запевнив, що по птаству бачив
щасливий знак на шлюб і перемогу,
й Деїфоб сказав, що то неправда,
немов би ти кляла царя й Лідійців.
І заспокоїлись вона й пішли.

К а с. Гелен казав, що він по птаству бачив
щасливий знак на шлюб і перемогу?
Неправду він сказав!

А н д р. Та що, Касандро,
доволі з нас уже твоєї правди,
зловісної, згубливої, так дай же
нам хоч неправдою пожити в надії.
Ох, я вже втомлена від тої правди!
Ой, дай мені хоч сон, хоч мрію, сестро!
Дай вірити хоч день, що мій синочок,
Астіанакс єдиний буде жити,
що не загине од рук ворожих
і буде сильний, владний, богорівний,
як був його отець, мій любий Гектор!
Ох, дай мені хоч мрію, сестро!

К а с. Для сна, для мрії ти згубить готова
усе те військо? Сором, Андромахо!

А н д р. Не сором, ні, і кожна мати скаже
що се не сором. Що мені чужинці?

Чого я маю жалувати їх?

А може ж то і правда, що вратують
вони нам Трою? Може ж то і правда?

К а с. Та тільки „може“?

А н д р. Досить і того.

Надія є, Касандро, є надія!

К а с. Прощу тебе, сестрице Поліксено,
пошли свою рабину по Гелена.

П о л і к. Гарзд. (виходить).

А н д р. Нащо тобі Гелен?

К а с. Я хочу

його спитати. Я собі не вірю.

Вже бачиш довершилась божа кара:

Не тільки інші, а й сама Касандра

зневірилась в Касандрі. Я не знаю,

чи все то правда, що тепер я бачу.

А н д р. А що ж ти бачиш?

К а с. Годі, Андромахо,

мене питати, щоб потім клясти.

На голові моїй вже й так проклони

тяжать немов залізна діадема,

сплели ся над чолом слова вразливі,

немов гадюки над чолом Медузи,

шиплять ворожо, труять, глушать розум...

Іди, збери своїх рабинь, звели їм

кітари й флейти взяти і музику

збратати з ніжним співом, може сон

і мрію золоту вони накличуть

тобі на очі, втомлені від сліз.

Є в тебе Фінікійка рабиня,

ота, що вміє змії замовляти,

вона приспить в тобі змію тривоги

і ти заснеш, і в сні тому не буде

нічого злого, ні війни, ні смерти,

ні страху, ні Касандри.

А н д р. Не глузуй.

Я вірю, що таки Лідійці прийдуть

з царем і з перемогою. Прощай! (виходить).

VI

Той самий Касандрин покій. Касандра і Гелен.

- К а с. Так ти скажи мені по правді, брате,
яку ти провість по пташках побачив?
(дивить ся йому в вічі, Гелен їх спускає
до долу).
- Г е л. Та що там! ми обоє віщунни
і добре знаєм, що пташки, й утрібки,
і кров, і дим від жертви, все то тільки
покраси й покривало голій правді,
про людське око. Адже тая правда —
цнотлива дуже і поважна жінка
і сором їй ходити без одежі. (смієть ся).
- К а с. Але й сама я жінка, отже правду
я можу бачити й невбрану.
- Г е л. Сестро,
скажи мені, хто бачив голу правду?
- К а с. Я бачила її аж надто часто!
- Г е л. Чи певна ти, що ти її очима
своїми не наврочила.
- К а с. Гелене,
торкнув ся ти до виразки палкої,
але стерплю одважно, хочу широ
порадитись тебе, — ти наймудрійший
з усіх братів, гнучкий и тонкий розум
у тебе, як вогонь.
- Г е л. Або як вузь?
Фрігійський розум, сестро! Ми, Троянц ,
за довгий час облоги вже навчились
звивати ся вужами. Що робити?
Колиб ти бачила, як Деїфоб
звивавсь перед Лідійцем, ти б сказала,
що й другий брат гнучкий-тонкий зробив ся.
- К а с. Не говори мені про гнучкість плаза,
для мене то не мудрість, а гидота.
Скажи мені по щирости, як брат
сестрі коханій: чи ти справді думав
чи по пташках, чи просто, все одно

що в сих заручинах ратунок Трої
і що ратунок той дадуть Лідійці?

Г е л. Ти завдала мені трудне питання.

По щирости: — раз думав, а раз ні.

К а с. Як розуміти се?

Г е л.

А так. З початку

я певен був, побачивши те військо,
найжене списками, нечисленне,
на силу свіже, на одвагу дуже,
що Елінам, потомленим війною,
знесиленим облогою, не встоять
проти царя, жадібного звитяги.
І певен я: колиб та перемога
була в руці в Гелени, в Поліксени,
чи в Андромахи, чи в котрої хочеш,
та не в твоїй, — вона була б за нами.

К а с. Чи й ти гадаєш так, що все нещасте
походить від Касандри?

Г е л.

Хоч не все,

але багато.

К а с.

Брате! що ти кажеш?!

Г е л.

Ти щирости хотіла і вволив я
твое бажанне, не мое, сестричко.
Та я тебе, Касандро, не картаю,
невинна ти з своєї вдачі. Певне
боги в тім винні, що дали тобі
пізнати правду сили ж не дали,
щоб кермувати правдою. Ти б а ч и ш
і склавши руки, або заломавши,
стоїш безвладна перед тим привиддем
страшної правди, мов закам'яїла,
немов на тебе глянула Медуза,
і тільки жах наводиш на людей.
А правда від того стає страшнійша
і люде тратять решту сили й глузду,
або ідуть з одчаю на пропаше,
а ти тоді говориш: „Я ж казала!“

К а с. А що ж би ти зробив?

Г е л.

Те, що роблю.

я з правдою борюсь і сподіваюсь
її подужати і кермувати
от, як стерничий кораблем кермує.

К а с. А Мойра, брате, неблагана Мойра?

Ї ж бо воля світом всім кермує,
а ти се мав би кермувати нею?

Г е л. Не так, Касандро. Мойра так врядила,
щоб був і світ, і море і керманич,
і корабель, і бурі, і погода,
і скеля, і затока; щоб була
і боротьба, й надія, й перемога,
і правда, і... неправда.

К а с. Коли так,
вона бажає, щоб була й Касандра.

Г е л. І щоб Гелен боровсь проти Касандри.
Отсю я правду бачу і борю ся,
щоб нам троянський корабель стягти
з тієї мілизни, куди Касандра
його загнала правдою своєю.

К а с. А ти його неправдою вратуєш?

Г е л. Що правда? Що неправда? Ту брехню,
що справдить ся, всі правдою зовуть.
Одного разу раб мені збрехав,
що мій фіал украдено, бо просто
не хтіло ся йому шукать фіала,
а поки лінував ся раб, то й справді
фіал було украдено. Де правда
була тут, де брехня? Тоненька смужка
брехню від правди ділить у минулім,
але в пройдешньому нема вже й смужки.

К а с. Коли хто каже те, в що й сам не вірить,
то се неправда явна.

Г е л. А як скаже,
хоч в добрій вірі, тільки помилившись
не до ладу, то се вже буде правда?

К а с. А як же ти, Гелене, одріжняєш
брехню від правди?

Г е л е н. Та ніяк. Я просто
даю їм спокій.

- К а с. Як же ти віщуєш?
що кажеш людям?
- Г е л е н. Те, що треба. сестро,
те, що корисно, або, що почесно.
- К а с. Невже ніколи ти того не бачиш,
що буде, неминуче, невблагане?
Невже тобі не каже в серці голос:
„Так буде, так! так буде, не інакше!“
- Г е л е н. По щирости сказавши, — ні, ніколи.
- К а с. То нам порозумітись дуже тяжко.
Але скажи, як можеш ти прилюдно
казати: „бог мені відкрив... я бачив...
я голос чув таємний“, коли то
неправда все?
- Г е л е н. Знов правда і неправда!
Лишим отсі слова, нема в них глузду.
Ти думаєш, що правда родить мову?
Я думаю, що мова родить правду.
А чим же нам таку назвати правду,
що родить ся з брехні? Чи ти ніколи
не бачила такого народження?
Я бачив безліч разів. Слово плідне
і більше родить, ніж земля прамати.
- К а с. Але ти сам казав: роблю, що треба
і що корисно, що почесно“. На що ж
потрібно удавати віщуна?
хіба корисно то, хіба почесно?
- Г е л е н. А вже ж! Як би сьогодні батько й браття
і з ними всі Троянці і Троянки
Лідійців умовляли та благали,
ні на що б не здалось те все, — Лідійці
сказали б тільки: „загляла Касандра,
пророчиця, — війна і шлюб нещасні“.
А я прийшов з повагою жерця,
в віщунській діадемі, патерицю
посріблену здійняв високо в гору,
мов блискавка вона свінула в вічі
усім чужинцям. Я сказав: „Мовчіть
і ждїть. Я випустив із храму

свячених голубів". Замовкли миттю
і галас і розмови. Я сказав:
„Царь Ономай образив Апольона,
засватавши пророчицю його
і не спитавши згоди стріловержця,
і бог за те свій гнів йому прорік
устама віщими Касандри. Можна
ще одвернути гнів, офірувавши
для бога пишну гекатомбу з білих
волів, що не були ще під ярмом“.
— „Я обіцяю!“ крикнув царь лідійський.
А я гукнув: „Я бачу: голуби
вернулись і годують голубяток!
Щасливий поворот й шлюб щасливий!“
І словом тим я переміг тебе,
видюща сестро.

К а с. Чи надовго, брате?

Г е л е н. Побачимо! Се правда, що на полі
воюють не Лідійці й не Ахайці,
а ти і я. Одвагою кермує
Гелен, а распачем Касандра править.

К а с. А що, коли Касандра переможе?
Чим виправдить Гелен свою неправду?

Г е л е н. Прилюдно скаже: „Се сам Ономай
себе згубив, бо замість гекатомби
саму обіцянку дав Апольону“.
Собі ж він скаже: „Зброя поломилась,
але ми иншу знайдем. Все ж почесніш
при зброї гинути, ніж голоруч“.

К а с. Чому ж ти й сам не йшов у бій сьогодні,
не з патерицею, — з мечем і списом?

Г е л е н. Бо меч і спис мала для мене зброя,
бо людські душі — от моє знарядде,
крилате слово — от моя стріла,
люд проти люду — от мій поединок!
Усім тим правлю я, фрігійський розум.
Ся діадема, с'я патериця
то знаки влади над всіма царями.
Я рівного собі не маю тут

зпоміж усіх владарів і героїв.

Ти тільки рівна, може навіть вища,
і ми боротись будем до загину.

К а с. Ох, я сама не знаю, чи хотіла б,
чи ні тебе перемогти сьогодні!
Ненависний мені той шлюб мов смерть,
я так його боюсь, як згуби Трої.

Г е л е н. Либонь у тебе не фрігійський розум.

Чи ти не чула, як боги часами
своїх обранців хмарою вкривають?
У мене є тайник під олтарем, —
як станеш ти з тим Ономаем поруч,
приносючи богам весільну жертву,
від жертви піде дим, сірчана хмара,
а як розійдеться ся — замість Касандри
порожнє місце буде. Розумієш?

К а с. Се стид і ганьба — радити таке!

Чи се по твоєму „почесний“ вихід?

Г е л е н. За те корисний і безпешний, сестро.

К а с. Воліла б я себе мечем убити!

Г е л е н. І тим роздратувала б Ономаю,
а слово все таки своє зламала б.
І некорисно й непочесно, сестро.

(Дивить ся з усміхом на неї)

Ми не однакові, а все ж ми рівні,
як не в ділах, то все ж хоч у думках.

Поліксена (входить).

Царь Ономай убитий, а Лідійці
у ростіч винулись. Ой горе, горе!

Г е л е н. Радій, Касандро, ти перемогла!

К а с. (віщим голосом).

Не я, а Мойра. Я її знарядде.
Тонкий фрігійський розум і гнучкий, —
його зігнула Мойра і зломила,
її правиця і важка й тверда,
вона кує з народів зброю світа,
а я і ти — ми тільки цвяхи в зброї.
Не перецінюймо себе, Гелене.

А н д р о м а х а (вбігає й несамовито кидаєть ся до Касандри).

Ти, люта згубо, всіх нас загубила!

К а с. (спокійно показує на Гелена).

Питай його, чом він не вратував.

Ми віщуни обоє, значить, рівні.

(Виймає зза пояса кужілку і сідає прясти).

VII.

Великий майдан з храмом по середині на чималім підвішенню. Праворуч в глибині двір царя Пріама, ближше до стени різні інші будови міста Іліона. Ліворуч близько до стени Скайська брама. — Ясний ранок, майдан залитий сонцем. Велика юрба люду троянського, то входять у браму, товпять ся перед храмом, гомонять, то дужче, то тихше, часом вовсім затихає і жде чогось, насторожившись.

З царського двору виходить Гелен в святочній білій одежі, у срібній діадемі, з білою посрібленою патерицею в руді, іде урочистою гієратичною походою.

Г о л о с и в н а р о д і. Гелен іде! Дорогу прозорливцю!

Г е л е н. (Зіходить на храмовий перістіль і дає знак патерицею, ступнувши нею тричі об мармуровий поміст, далі починає промову велично-віщим голосом).

Батьки, брати й синове! рідна Троє!

Боги з Олімпу зглянулись на сльози,
на гекатомби, на благання наші, —
без зброї подолали ворогів.

Зевс Елінам поклав у серце звагу
по добрій волі залишити Трою.

Підіть за браму — зник ахайський табор
лиш кінь один стоїть на таборищі, —
богам троянським в дар дали Ахайці
того коня. Він з дерева, непишний
і не коштовний військовий дарунок,
та він дорожчий нам від срібла — злата,
від мarmору й каменя дорогого.

Дарунок згоди ліпший над здобуток,
що на війні ціною крові взято.

Ахайці відплили від нас по волі
своїй і всіх богів, а дар лишили
на знак пошани й згоди. Честь Ахайцям!

Л ю д и. Ахайцям честь!

Г о л о с К а с а н д р и (з храму). За кров, за смерть, за сльози!

Д е і ф о б (обертаючись до дверей храмових).

Мовчи, Касандро!

Г е л е н. (До Троянців).

Вам, троянські мужі,

я ражу дар той повезти у храм

і край Паладіона там поставить.

К а с. (з'являєть ся на дверях з чорною патерицею і простята її, немов загорожуючи вхід).

Я не пускаю в храм.

Г е л е н (одбиває її патерицю своєю).

Вступись, Касандро!

К а с. (знов загорожує).

Мені належить влада не пускати.

Чоловіки не сміють наближатись

до постати Палади. Я сторожа

Паладіона. Ти вступишь, Гелене,

гляди своїх пташок.

(Дивить ся йому в вічі, він спускає патерицю).

Нечистий дар!

Проклятий дар!

(Люд порікує, видимо збентежений),

Г о л о с з ю р б и. Та геть її женить,
зловістницю!

Д р у г и й г о л о с. Мовчи! вона ж царівна!

П е р ш и й г о л о с. Вже те її пророкування

уїлось нам у печінки. Не доки ж
терпіти се!

Т р е т і й г о л о с. Убить її!

(Якийсь молодик заміряєть ся списом).

Г е л е н (здержує знаком руки).

Не руште!

Не проливайте крові — там святиня!

Д е і ф о б. То як же буде, брате, з подарунком?

Г е л е н. Ми храм новий збудуємо для нього,

„храм згоди“ буде зватись. Поки що
стоятиме в царськiм дворі дарунок.

(до Деїфоба). Ти призначи сторожу для пошани.

К а с. Сліпий побитих на сторожу ставить!

Д е і ф о б. Касандро!

- Гелен. Брате, й ви, троянські мужі,
перевезіть коня в царське подвірє.
(Деїфоб дає знак рушати і подаєть ся сам до Скайської брами).
Голоси з люду. Гелен наказує!
Рушаймо, браття!
Гелена хай боги благословлять!
Він розум наш! Він наше око ясне!
Кас. Єдине око — й те більмом зайшло!
(Увесь люд рушає за Скайську браму).
Гелен. Касандро, слухай, нащо ти мене
на пробу ставиш дотинками тими?
Кас. На пробу, чи не станеш раз видющим.
Гелен. Касандро, се ж безумство! Річ видима:
ахайський табор спорожнів; на морі
ані човна, ні цяточки не має.
Розвідачів далеко розсилали
ми з Деїфобом, найбистрійших хлопців
і ківно й піхотою. І невидко,
щоб де була яка залога, чати,
чи щось подібне.
Кас. Дурно не дає
дарунків ворог.
Гелен. Та ж той дарунок
то миру знак. Чи ти ж не розумієш?
Кас. Вже ж ні. Якби отсе посеред моря
палка жарина плавала по хвилях,
розжеврена вогнем — то був би знак
воді від полумя на мир. Та хто ж би
збагнув таке?
Гелен. Люди не стіхії,
і лиху й гніву людському є край.
Ахаянок вже піросло багато
за час війни і може Менелай
молодшу дома знайде від Гелени.
Кас. Гелену бачив він на Скайській брамі
учора зрана.
Гелен. Що ж?
Кас. Піди, Гелене,
до неї в гінекей і там подумай,
що ти сказав.

Гелен (задуметь ся. Тим часом з Скайської брами показує ся гурт озброєних Троянців. Гелен показує на їх Касандрі).

Ти бачиш ті списи

і ті мечі? — Не треба й остороги пророчої. Он вартовий сурмач.

Тож сурма голос має, Троя — вуха.

Кас. Німий глухого буде вартувати!

Гелен. Касандро, годі! Я глухий для тебе, так же й твої слова німі для мене.

Договорились ми до краю. Годі.

Деїфоб (з юрбою озброєних, веде звязаного Еліна до Касандри й Гелена).

Сюди його, сюди! Нехай розсудять троянські прозорливіці сюю справу і скажуть нам, що маємо робити з отсим чужинцем. Брате й ти, Касандро, послухайте і зважте. Ми застали сього чужинця край коня на полі. Блукав мов непритомний, сльози лив і, руки ламлючи, слова безладні виврикував. Ми зайняли його, пізнавши Еліна з одежи й мови. Тепер між нам розділилась думка! одні говорять одпустить його, — він тим покинутий, що божевільний, і певне він не зробить зла нікому, а другі кажуть: се розвідач хитрий, убить його, щоб не було біди.

Поки Деїфоб говорить, надходять люди, чоловіки й жінки, хто з поля від Скайської брами, хто з будинків від міста, і збирають ся в гурт).

Голоси з гурту. Убить! убить!

Один голос.

Завіщо?

Другий голос.

Так, для помсти.

Третій голос. Для остороги.

Четвертий голос.

Покарає Зевс.

за бров невинну.

Деїфоб (дужим голосом). Замовчіть, Троянці!

Не вам належить суд. Скажи, Гелене, убить його, чи визволити радиш?

Гелен. Ні те, ні друге. Марне убивати
не має чести нам, тай небезпечно,
бо як дізнають ся про те Ахайці,
що Еліна убито без вини,
то знову можуть розпочати чвару
на довгі роки. Тільки ж і пустити
непевного чужи — о.
Нехай собі живе, але у путах
під пильною сторожею.

Сінон (полонений Елін). Ой, царю,
чи віщий прозорливцю! Я не знаю,
як маю величати мого владаря...
Але я бачу розум боговитий
у тебе на чолі. Збагни ж, премудрий,
ти душу Еліна. Я сам з Еляди.
Еляда — се ж колиска споконвічна
святої волі. Правний син Еляди
без рідної стіхі жити не може,
а хоч би й міг — не хоче.

Кас. Ти сим словом
на смерть почесну в Трої заслужив.

Гелен. Чого на смерть? Пусти його на волю,
коли нема вини на ньому.

Кас. Брате,
що есть вина? Хіба гіена винна,
що смертю й розпадом живитись мусить?

Деїфоб. Хіба ти знаєш заміри чужинця,
що так його рівняєш до гіени?
Коли ти знаєш, то скажи виразно,
що саме він замислив нам на згубу.

Кас. Не знаю я нічого, тільки бачу
кривий гіени погляд, тільки чую
проникливий хижацький голос...

(В раптовім нестямі).

Ой!

Гіени бродять по руїнах Трої
і лижуть кров іще живу... гарячу...
обнюхують ще незастигли труни
і радо скиглять...

(Стогнучи, закриває обличчя руками. Люди стоять у важкій мовчанці, далі починають перешіптуватись. Сінон трівожно оглядаєть ся на всі боки).

Д е і ф о б (бере Касандру за руку і потрясає. Стиха).

Сестро, спам'ятай ся!

Доволі слів тих темних і страшних,
що придавили люд, мов димна хмара.

(в голос).

Коли гієну бачиш в сім чужинці,
Ну, щож, убий його, ми не бороним.

Г е л е н (подає їй жертвний меч).

Ось маєш меч!

К а с. (збентежена) Ні, браття, я не вмію
мечем владати.

Г е л е н. Жриця мусить вміти
в потребі всяку жертву заколоти
рукою власною.

К а с. Хіба се жертва?

Г е л е н. Се жертва прозорливости твоєї.

К а с. Чому ж ти сам сю жертву не заколеш?

Г е л е н. Сліпий на осліп лити кров не хоче.

Нехай твое видюще око править
рукою певною. Єдине серце
нехай наказує руці й очам.

Д е і ф о б. Хай буде так. Нехай хоч раз Касандра
не сваржить ся на людську неймовірність.

Коли невинен Елін, хай за кров
спокутує Касандра перед Зевсом,
а людський суд мовчатиме тепер,
за сее ручить старший син Пріяма.

Г е л е н (вкладає меч в руку Касандри).

К а с. (мовчки бере меч).

(На знає Деїфобовий Сінона підводять ближче).

С і н о н (протягає до Касандри звязані руки і падає на коліна).

Пророчице!.. Ох, як благи маю
негідний я пречистую тебе?
Чужі тобі дрібні діла людські,
ти, богорівна, дивиш ся як Мойра
на болі серця смертного, слабого...

Ще може горе кривної родини,
 тобі, як і богам святе здаєть ся,
 та я нещасний без родини в світі,
 я сирота без матери, без батька, —
 признатись мушу, ти ж бо всевидюща...

Єдину тільки маю наречену,
 вона мене кохає... О, я тямлю,
 для твого слуху сі слова — марниця...

Колиб ти знала... Ох, колиб ти знала,
 як рветь ся серце з тяжкої розлуки
 і як душа вмирає від тривоги !..

(Серед Троянок рух, зітхання, де-котрі втирають сльози).

К а с. (хоче запанувати над власним зрушенням).

Встань, Еліне, і говори спокійно.

С і н о н (встає)

Пробач мені, але про се спокійно
 уста мої не можуть говорити...
 прости, вони тремтять...

(Закриває лице плащем і замовкає. Згодом одкриваєть ся і про-
 вадить далі).

Чом я бездольний

моєї Левкотеї не послухав?

Тож так вона мене тоді благала,

як я тепер тебе благаю ревне.

„Ох, не вбивай мене! — вона взивала, —
 зглянь ся на мої весняні молодощі!“

Та я стояв мов свєля і дивив ся
 на чорний корабель, на темні хвилі.

І крикнула до моря Левкотея:

„Ой, море, море! Ти, жива розлуко!“

І безліч раз оті слова безумні,
 ридаючи, нещасна промовляла...

І я їх чув, аж поки зашуміли
 навколо мене темні, чорні води...

(Береть ся за голову і тихим, немов далеким голосомъ кви-
 лить — промовляє).

„Ой море, море, ти, жива розлуко“ !..

К а с. (стурбована).

Тебе лишили вмисне?

С і н о н (покірно).

Так, царівно.

К а с. Навіщо?

С і н о н. Ох, царівно, я не знаю!

Мене лишили сонного. Прокинувсь —
аж серед поля я, один як палець.
Либонь давно ще мав на мене гнів
потужний Діомед, що я прилюдно
безжалісним назвав його Хароном
в той час, як він, а з ним ще наших двоє
розвідача троянського вбивали.

К а с. (напружено). Коли?

С і н о н. Давно, пророчице, тоді ще
Пелід наш був живий. Та пам'ятливий
у гніві Діомед, — його вразило,
що я насмів обороняти бранця,
його рукою взятого на смерть.
Але ж мені, так жаль було Троянця,
Такий був молоденкий і вродливий,
Так жалісно благав про милосердя...
Ой горе! Так і я тепер благаю,
та нікому за мене заступитись
хоч би одним словом... Всі мовчать...
Смерть неминуча... На що ж протягати
остатні сі хвилини під мечем?!

(Раптом падає на коліна і нахиляє голову).

Спусти свій меч на мене, неблагана!

К а с. Гелене, я непевна, може справді
невинен сей чужинець? Як гадаєш?

Г е л е н. Я, сестро, не вгадаю без пташок.

Д е і ф о б. А я дивуюся з твого вагання.
Адже могла колись ти ціле військо
людей невинних одіслати на страту
одним словом, — і не жаль було.
Так що ж тобі якийсь один чужинець?
Невже він ласку заслужив у тебе
заступництвом одним за Троянця
єдиного? Адже лідійське військо
бажало вратувати цілу Трою
і то від тебе ласки не зазнало.

К а с. (з розпучливим поривом здимає в гору меч над Сіноном, але рука їй затремтіла і вона повагом спускає меч, не зачепивши Сінона).

Ти одібрав мені остатню силу.
 тим спогадом... Пролита марне кров
 звиває до богів супроти мене...
 Багряна хмара насува на очі,
 на розум мій... Ох, непрозора хмара!..
 (меч випадає їй з рук).
 Рука моя зовяла... серце всохло...
 тьма... тьма... (хитаєть ся і падає на руки Геленови).
 Г е л е н . Вона зомліла! Поможіте,
 Троянки сестри!
 (Троянки несуть Касандру в глибинку храму).
 Г е л е н (до Сінона). Еліне, ти вільний,
 бо не хотять боги твоєї смерти.

VIII.

Той самий майдан. — Вечеріє. Ніч насуваєть ся швидко, темна безмісячна,
 тільки зорі сяють різко, як буває в холодні вітряні ночі.
 На майдані поставлена сторожа : один вартовий коло царської брами, другий
 коло Скайської, третій коло храму, четвертий ходить навколо, вартує троян-
 ські оселі. Всі озброєні, як на війну.

Сторожа який час вартує мовчки. З царського двору чутно
 відгуки музики і веселого бенкетного гомону.

1-й вартовий (від царської брами).

Ну, свято, братця!

2-й вартовий (від Скайської брами).

Та вже так, що свято!

Хто не — гуляє, а сторожа стій
 і стережи, хто зна чого й від кого.

3-й вартовий (від храму).

Не стало Гектора, не стало й глуду.
 О, той не марнував би часу нам,
 не збиткував ся б над підвладним людом. —
 сам був герой, тай иншим ціну знав,
 а сі..

4-й вартовий (що ходить навколо, наближаєть ся до 3-го
 і каже нишком).

Ти б трохи обережніш, брате,
 бо там Касандра, їх сестра.

3-й вартовий. Дарма!

Вона з братами як вогонь з водою,
 така в їх згода.

4-й вартовий. Все ж одна родина!

3-й вартовий. Нехай би Гадес їх усіх забрав!
 Увірились вони усі Троянцям,
 а вже найгірш ота зловістна птиця (киває на храм),
 все лихо з неї!

4-й вартовий. Цять! Паріс іде!

(Від царського двору наближають ся Паріс і Сінон).
 Паріс (в святочній барвистій і вишиваній одежі, без зброї,
 на голові навколо червоного фрігійського шпичка трояндвий вінок
 спід нього спадають на плечі довгі кучері).

Паріс. Ну, що? вартуете? Брат Деїфоб
 мене прислав наглянути.

Щож — пильно, гаразд вартуете?

1-й вартовий (понуро). Та вже ж, вартуєм.

Паріс. Чого ж такі сумні?

1-й вартовий Потіхи мало
 на голодно й на сухо тут стояти
 в святковий день.

Паріс. Се правда!.. Та пождіть
 ми щось придумаєм...

Кас. (з храму). Пильнуй, стороже!

Паріс (здрігнув ся).

Що то таке?

1-й вартовий. Сестра твоя, Касандра,
 вона пильнує там Паладіона.

Паріс. А, отщо!.. (здрігаєть ся знов і неспокійно оглядаєть
 ся). Ох, яка холодна ніч!

1-й вартовий. З гір вітер, без вогню сутужно буде.

Паріс. А йдіть, та принесіте дров сюди,
 та розложіть вогонь. (Ближчі вартові йдуть).

Сінон. Так, ніч холодна,

Паріс (загортаєть ся щільнійше в плащ).

Сінон. Дружинонька твоя золотокудра
 либонь тепер багатте розпалила
 і пахоців насипала солодких,
 димок від курева, мов легка мрія,
 над сніжно-білим чолом ніжно вєть ся.

Паріс (мовчить, розмарений, поглядає на царський двір).

Сінон Тепер либонь ті світозорі очі
 слезою пойнались. Вона сама.

Сидить, пряде і думоньку гадає,
 а ти то бенкетуєш, то вартуєш...

П а р і с (Тихо, немов до себе, не дивлячись на Сінона).

Чи є в тім глузд?.. Покинуть би се все...

Ну, що тут станеть ся?... (Наміряєть ся йти).

К а с а н д р а (з'являєть ся на дверях).

Стривай, Парісе!

Куди ти йдеш?

П а р і с (збентежено). Я?.. По тепліший плащ.

Холодна ніч...

К а с. Холодна, кажеш? Брате,

даремне ти так холоду боїш ся,

не в тім твоя погибель.

П а р і с. Ой, Касандро,

коли вже ти покинеш тії речі

про смерть, про горе, про погибель марну?

Вже все скінчилось, і війна і горе,

час відпочити.

К а с. Як у тебе хутко

скінчилось горе!.. Підійди, Парісе,

і подивись туди.

(Паріс дає знак Сінонови, щоб той собі йшов, і підходить до Касандри, вона показує йому рукою в долину, осяяну місяцем. Сінон виходить).

К а с. Що там на полі?

П а р і с. Там?.. Там могила...

К а с. Ти забув, чия?

П а р і с (мовчить і спускає очі до долу).

К а с. Під нею Гектор наш, троянська слава.

П а р і с. Він вже давно поліг...

К а с. А ти zostав ся!

То, значить, веселіть ся і радійте,

Троянські люди?

П а р і с. Сестро, ти ніколи

мене так тяжко не вражала словом.

К а с. Бо я тебе не бачила таким,

як от тепер. Оті твої троянди

мені впили ся в серце волючками

і точать з нього кров.

П а р і с. Касандро!

К а с. Годі!

Іди, іди до неї, осоружний,

до чарівної, гарної Медузи
і скамяній, упавши, перед нею
навколішки — так наша слава впала.

П а р і с. Чого ж упала? Ми перемогли!

К а с. Ти звеш се перемогою? Вся слава,
вся наша честь погинула давно,
зосталась тільки крадена Гелена
та ще безглузда деревина. Справді,
преславна перемога!

П а р і с.

Слухай, сестро,
як ти мене затримала для того,
щоб я такі слова приймав від тебе,
то я на те не згоден. (Повертаєт ся щоб іти).

К а с.

Вже ж, іди!
Нехай не кажуть люди, що даремне
загинула троянська сила й слава.
Нехай Паріс упеть ся тим коханнем,
що ми за нього ходим у жалобі,
нехай тим щастем серце навтішає,
що ми за нього заплатили горем
довічним! Се ж була мета преславна
війни згубливої. Так доверши
величну перемогу край Гелени
в розкошнім гінекеї! (Паріс, налагодившись було йти,
при перших словах Касандри спинив ся і стоїть в нерішучості).

К а с.

Де твій меч?

П а р і с.

На що той меч?

К а с.

Узброений ти досить
шличком червоним, вишитим хітоном,
трояндами та чорними очима?
Для перемог твоїх сього доволі?

П а р і с. (спалахнувши). А для твоїх, скажи, чого бракує?

спитав би й я: Касандро, де твій меч?
Адже в твоїх руках він був сьогодні,
чи ти ним запобігла чести й слави?
Мовчиш, проречиста, забракло мови!

К а с.

(мов прибіта).

Прости, мій брате... правда... щож... іди...

П а р і с

(з дитячою радістю, забувши гнів).
Так, я піду... Я не надовго, справді...

Ні, ти не думай... (вже на ході) я піду по плащ,
бо холодно... я хутко поверну ся... (де далі все при-
скоряє ходу : хутко зникає в брамі царського двору).

К а с. (іде в храм і засовує за собою завісу на храмовім вході).

(Чутно голос флейти, бренкіт китари і співи. Незабаром
з'являється Сінон з флейтистом і китаристом, що не-
суть у двох велику амфору вина. Сінон з кошиком овочів та з фія-
лом коло пояса, сам уквітчаний і на рупі має скілька вінків. З дру-
гого боку йдуть з дровами та з частками мяса вартові, розпалюють
перед храмом вогонь і захожують ся пекти мясо. Музики устано-
вляють амфору, вгородивши її в пісок і лагодять ся грати).

С і н о н (співає, флейтист і китарист приграють).

На полях Асфоделонських,
на долині Елісейській,
ходять славою повиті
тіни згублених героїв,
та чого ж вони сумні?

Х о р в а р т о в и х. На полях Асфоделонських,
на долині Елісейській,
не цвітуть квітки.

(Посеред співу 3-й вартовий сам одв'язує від Сінонового пояса
фіял і починає пити, далі частує інших).

С і н о н (співає).

Понад Стіксом каламутним,
понад Летою важкою,
ходять лаврами вінчані
тіни наших незабутніх,
та чого ж вони сумні?

Х о р. Бо у Стіксі каламутнім,
бо у Леті сумовитій
не вино — вода.

С і н о н (співає).

Там у Гадеса, в палатах,
перед троні Персефони
поставали в вічній славі
тіни наших оборонців,
та чого ж вони сумні?

Х о р. Бо у Гадеса в палатах,
перед троні Персефони
не брешуть пісні.

1-й вартовий (співає грубим голосом і не в лад).

Понад берегом Кокіта
ходять смутні герої
веть ся дим від наших жертов,
ллеть ся кров від гекатомб,
та чого ж вони сумують?

(гукає). Гей, антистрофу!

Катарист. Одчепись, не хочу!

1-й вартовий (співає далі сам).

Бо не має сала - м'яса,
ані ситого стегенця,
тільки дим та кров.

5-й вартовий. Щось не під лад.

1-й вартовий. Дарма, аби до речі!

Сінон. Сідайте, браття, до вогню хутенко.

Хвала богам, ще ж ми на сьому світі,
ще є вина, пісень, квіток доволі.

2-й вартовий. Та ще й м'яся! Захожуеть ся коло печива).

Сінон (роздає всім вінки, а 1-му, що пораять ся коло печені, сам насуває вінок на голову).

Налийте ж і мені. (Йому наливають, він пє).

(до 2-го вартового). А ти чому не пєш? Хіба не смашно?

2-й вартовий (нерішучо).

Нема води...

3-й вартовий. Та на що там вода?

Сьогодні й чисте можна п'ять! Гуляймо!

2-й вартовий. Та чисте дуже в голову вступає...

3-й вартовий. Іще чого! Ну, то не пий зовсім!

Іди, вартуй, як сказано, на брамі.

2-й вартовий. Який розумний!

3-й вартовий. То мовчи тай пий,
коли дають.

2-й вартовий пє, фіял знов наповняють і він переходить з рук у руки).

3-й вартовий. Ну, щож один фіял?

Марудно се, черги тієї ждати.

4-й вартовий (смієть ся).

Хіба піди, в Касандри попроси
жертвовних чаш. Он там вона, у храмі.

Голос Касандри з храму.

Вартуй, стороже!

1-й вартовий. Бач, сама озвалась!

Пожди, царівно, хай спечем печеню,
тоді й тобі дамо. (Сміють ся всі).

3-й вартовий. Ба, догадав ся!

(Здіймає вона з голови шолом, наливає вина й пе).

Чим не фіял? (За його прикладом інші роблять так само)-

1-й вартовий. Розумний, що й казати!

Ось і печеня, їжте, милі браття.

(Здіймає один шмат із списа і ділить мечем, кожному по шматочку).

2-й вартовий (ість).

Сиренька, та дарма, аби гаряча.

Сінон. Ось на перчину, трохи посмачи.

2-й вартовий. Пектиме дуже.

3-й вартовий. То вином пригасиш,
амфора не мала!

4-й вартовий. А як не стане,
добудем другу.

(Ідять мясо, батуючи мечами, їдять садовину і пють шоломами вино, де далі помітно вино починає їх розбирати. Музики тим часом грають).

2-й вартовий. Ви б іще співали.

3-й вартовий. А ти?

2-й вартовий. Та я за вами, сам не вмю.

Сінон заграє у флейту, потім передає її флейтистови, той провадить далі, кітарист підхоплює, інші вступають співом).

Над річкою сад — виноград повив ся,

Ой, саде — винограде!

Як буде йти до річки Левкотея,

обвий її, мій друже кучерявий...

1-й вартовий. Ет, се нудна!

Кітарист. А ти ж якої хочеш?

1-й вартовий (співа без музики, недоладним речитативом).

Жінки гляди не гляди,

не вбережеш, дарма праця,

будь ти хоч богом олімпським

мов кривоногий Гефест!

(Хитнувшись, спотикаєть ся і падає до долу. Мугикає ще разів два, мов пригадуючи: „Мов кривоногий Гефест... кривоногий Гефест“... далі мовкне й засипляє)

2-й вартовий. От так весела пісня!

3-й вартовий. На добраніч! (Шють далі).

(Флейтист і кітарист грають тим часом без співів. Де далі всі, окрім музик, зморені вином, вкладають ся долі навколо вогню і засипляють. Сінон теж удає, ніби спить).

Флейтист (перестає грати).

От і поснули!... Що його робити?

Кітарист. Собі заснути.

Флейтист. Ні, ходім на бенкет.

(Допивають у двох решту вина і йдуть до царського двору).

(На сцені який час тихо, всі сплять, тільки здалека чути відгуки музик, пісень, гомону веселого).

Голос Касандри (з храму).

Чувай, стороже!

(Повна тиша. Відгуки затихають. Сінон помалу підводить ся і сторожею оглядаєть ся навколо).

Голос Касандри. Гей, чатуй! вартуй!

(Сінон зриваєть ся, біжить до царського двору і зникає в брамі).

К а с. (на дверях храму).

Не спи, стороже! (завважає сплящих вартових),

Пробі, вартові!

(Касандра зіходить до вартових і пробує їх побудити, де-хто з них ворухить ся, бурмотить щось невизначне, але жаден не має сили прокинутись).

К а с. (подаєть ся до царського двору, кличучи:) Гей, хто живий? Гей, хто живий? Троянці!

(На зустріч їй з царської брами виходить Сінон, а з ним узброєні Еліни: Менелай, Агамемнон, Одісей, Аякс, Діомед. Вони зустрічають списи і загорожують Касандрі дорогу).

А я к с. Стій, дівчино! Ти хто така?

Одісей. Та се ж

Безумная Касандра, чи не знаєш?

К а с. (хоче прорватись поза списи).

Троянці! Зрада! Зрада! Гей, Троянці!

Агамемнон. Схопіть її та зав'яжіть їй рота!

(Касандра хутко обертаєть ся і втікає в храм, там вона припадає до Палладіона, щільно обіймаючи статую).

К а с. Не руште! Я під захистом святині!

А я к с. Іще чого!

Д і о м е д.

Дарма! Ти наша бранка.

(Діомед хапає Касандру за ту руку, де патериця, Аякс хапає її за волосся, вона чіпляється вільною рукою за педестал Палядіона, статуя хитається і враз із педесталом падає додолу. Вояки витягають Касандру з храму, вяжуть їй руки, не одбіраючи патериці, ремінцем від мечів, а потім саму прив'язують до кольони в портіку храмовім над сходами.)

Тим часом Сінон, Менелай, Агамемнон та Одисей одчиняють Скайську браму, а Діомед вертається в храм і забирає Палядіон.)

Д і о м е д (гукає). Наш, наш Палядіон! Сюди, герої!

(В одчинену браму лавою суне ахайське військо.)

К а с. (кличе, зібравши всю силу).

Провинься, Троє!! Смерть іде на тебе!!!

(В царськім дворі тай в інших будинках спалахують тривожні світла. Елїнське військо хутко сповняє весь майдан і розтікається в різні боки по вулицях Трої. Незабаром здійснюється в місті великий лемент, перебігають через майдан Троянці, безоружні, в святочній одежі; за ними наздогін збройні Елїни, кого хапаючи, кого вбиваючи. Згодом займається ся пожежа. Де-далі втікачів і догонців меншає, але частійше з'являються ся переможчі Елїни, що женуть списами поперед себе, мов отару, гурти вже полонених і пов'язаних у стяж Троянців і Троянок, одних заводять у храм, інших виводять за Скайську браму, інших примушують сидати долі на майдані, тоді ті падають ницьма на землю і голосять. Бранок з Пріямової родини ставлять і садовлять у портіку храмовім, коло Касандри. Коли заметня потроху втихає, то коло Касандри вже є Андромаха, Полїксена і ще скілька жінок.)

А н д р. (ридає).

Моя дитино! Синоньку єдиний!

Навіщо я тебе на світ родила!..

Розбили!. Вбили!.. Кинули об камінь!..

П о л і к. Ой, лихо тяжке! Батеньку! Матусю!

Наложницею стане ваша доня!

Інші жінки з царської родини.

Тепер же ми рабнями й сконаєм!..

Рабнями... Далеко на чужині..

А н д р. (до Касандри).

Чого ж мовчиш? Чом смерти не віщуєш?

Тепер нам смерть була б єдина втіха.

К а с. (з страшним спокоем, якимсь неживим голосом).

Тут є такі, що иншу втіху знайдуть.

А н д р. Проклін на тебе!

К а с. (як і перше). Так, проклін на мене.

Бо я тепер побачила найгірше.

Троянки у неволі і — живі!

Обходять вросна, розділяють ложе,

дітей годують Елінам на втіху...

Прокляті очі, що таке бачуть!

А н д р. Уста прокляті, що таке кажуть!

К а с. Проклін на мене, я мовчать не вмію!

(Ведуть у храм повязаних Троянців з царської родини, між ними Гелен).

Г е л е н (проходячи повз Касандру).

Радій, Касандро, ти перемогла!

К а с. Ти переміг. Ти вбив мене сим словом.

Мій розум зламаний, твій піде в світ,

ти ним і переможців переможеш,

а мій погасне в купі з сим пожаром...

Г е л е н а (біжить через майдан, за нею Менелай з мечем).

Ратуйте, браття Еліни! Ратуйте!

За віщо він мене скарати хоче?

Зрадливо, силоміць я взята в Трою,

я бранкою нещасною жила,

що-дня по ріднім краю сльози ллючи!

(Ахайці нерішучо розступають ся перед нею, але не відштовхують, коли вона чіпляєть ся за кого з них, намагаючись заховатись під його щитом).

М е н е л а й. Ось кровь Парісова на сім мечи

Твоїє крові прагне!

К а с. Ой, Парісе!

П о л і к. Мій братіку!

А н д р. Нещасний!

Г е л е н а (оточена молодими вояками; раптом згорда).

Чоловіче!

Ти справді хочеш покарати мене?

Чи ти на те пролив се море крові

за честь мою й свою, щоб тут прилюдно

ганьбить її й плямити самохить?

То се такої шани дочекалась
цариця Спарти? Хто ж тепер повірить
тій чесности Спартанок, як і цар
свою царицю зрадницею вславив?

(До вояків). Чи й ви, Спартанці, на таке пристали?
Вояки-Спартанці (що оточують Гелену).

Вона невинна! Богорівна жінка!

Даремне, царю, ти ганьбиш дружину!

Менелай (до Гелени, лагідно).

Пробач мені, — я запальний, ти знаєш...

Гелена (всміхається і простягає руку).

Я бачу, царю мій, ти не змінив ся.

(Менелай простягає їй собі руку до Гелени. Гелена бере його за руку і веде межі ахайськими лавами за Скайську браму на поле всі роступають ся перед нею з гомоном подиву).

Андр. Вона цариця знов, а ми — рабині!

Боги, де ж ваша правда?!

Кас. Ха-ха-ха!

Одна з Троянок (до другої).

Касандра засміялась... Ой, як страшно!

Від неї сміху я не чула з роду.

Кас. (в нестямі, дивлячись, як язики полум'я грають по царських будівлях).

Суди, сюди отих квіток огнистих!

Гранати задвіли! Весільний час!

(Чутно за сценою голос старої жінки, він заводить, ридаючи страшно, не мов вие).

Полік. (з жахом прислухається ся).

То наша мати!

Кас. То весільна пісня!

Се мати дочок виряжа до шлюбу!

Касандра все не правду говорила.

Нема руїни! Е житте!.. житте!..

Голос старої жінки розлягається дужче. Раптом його покриває хряск від падання будови. Заграва пожару заливає сцену).

З а в і с а.

Е П І Л Ь О І.

Діть ся в Еяді через довгий час після руїни Трої. Дім аргоського царя Агамемнона в Міkenax пишноваквітчаній знадвору, стежка від дверей до брами вистелена пурпуровою тканивою. На небі громова хмара. Блискає часом, але дощу нема.

Цариця Клітемнестра з царським намісником Егістом наглядають, як раби й рабині кінчають прикрашати дім.

Клітемнес. (до Егіста).

Такої зустрічі ніхто з царів
не мав ніколи.

Егіст. Правда, Клітемнестро.

(важливо, дивлячись їй в очі).

А пурпуру тобі не жаль?

Клітемнес. О ні!

Не жаль мені нічого... і нікого!

Егіст. Чого же се ти здригнулась?

Клітемнес. Адже бачиш,
як блискавка сліпить.

Вістник. (вбігає задиханий).

Цар іде! Царь!

Клітемнес. (до рабів).

Гей, ширше браму відчиніть! Рабині,
готуйтеся квіти сипати під ноги!

(Чутно гуркіт колесниці. Раби одчиняють браму настезж. За хвилину увиходить в браму Агамемнон, ведучи за руку Ксандру. Рабині сиплють їм під ноги квітки. Клітемнестра й Егіст перестривають Агамемнона ще в брамі).

Клітемнес. Мій царю! Мужу любий!

Я не вірю своєму щастю!

(Обіймає Агамемнона).

Егіст. Брате мій коханий!

(Цілує Агамемнона).

Клітемнес. (показує на Ксандру).

Се хто з тобою?

Агамемнон. Се дочка Пріяма,
пророчиця Ксандра.

Егіст. То Гелен

той, що приїхав з Трої і тепера
у Дельфах волю божу провіщає,
то брата їй?

К а с. А!...

А г а м е м н о н. Запевне. Я бажаю,
щоб їй була повага в нашім домі,
як жриці, як царівні подобає.
Для нас вона не бранка.

К л і т е м н е с. Добре, царю.
Я звикла слухатись. Хоч я не знаю
сієї жінки...

К а с. А тебе я знаю:
ти мати Іфігенії

(Клітемнестра заслоняє обличчя покривалом).

А г а м е м н о н (до Касандри). Навіщо
ти їй про се тепера нагадала?

К а с. А на що ти про се забув тоді,
як віддавав свою дочку на жертву
розгніваній богині? Ти забув,
хто мати Іфігенії, хто батько.
Ти тільки памятав, що треба жертви
для того, щоб згубити нашу Трою.

А г а м е м н о н. Ти все на мене ворогуєш, бачу.

К а с. У тебе, царю, є сильніший ворог, —
то що тобі Касандра?

А г а м е м н о н. Розкажи,
де ворог мій і що мене чекає?
я не троянець неймовірний. Широ
слова твої прийму до свого слуху
і в серці заховаю. Говори!
і вироком святим слова ті стануть
для мого дому. Все, що ти порадиш,
все я вчиню слухняно!

К а с. Я? Тобі?
порадить маю? Та хіба ми в Трої?
Хіба се дім Пріяма?

А г а м е м н о н (трохи з досадою). Ні, запевне,
бо там би так не вірили тобі!

К а с. Мені й нетреба вірить.

А г а м е м н о н. Я образив
тебе царівно?

К а с. Ти спізнав са, царю, —
було про се читати в Іліоні.

Тепер для сих розмов не має місця
на цїлім світі. Краще нам мовчати.

Клітемнес. Так Елінка ніколи б не посміла
озватись до царя!

Егіст (в пів голоса). Троянська вдача
зухвала з роду. Кажуть, Андромаха
таке показує над чоловіком,
що дивно, як він терпить.

Кас. Андромаха?

ся не була Троянкою ніколи.
Давнійш — то жінка Гектора була,
тепер — то жінка Еліна, тай годі.
Не Елінка вона тай не Троянка.

(До Клітеми).

Так як і ти. Ти, правда, і не жінка.

Клітемнес. (до Агамемнона).

І се твоє бажання, царю мій,
щоб так твою дружину зневажали?

Агамемнон (стурбований, сумний).

Коли б же се була зневага тільки!...
Але тут може гірше скрито...

(до Клітемнестри). Жінко,

чи все гаразд у нашім домі?

Клітемнес. Все.

А що ж би мало трапитись лихого?

Кас. Так мати Іфігенії питає.

(Клітемнестра знов закриваєть ся).

Егіст. Вже б я давно звелів мовчати бранці.

Кас. Так каже той, хто зник тут быть царем,
і звички тої втратити не може,
хоча для двох царів тісні Мівени.

Агамемнон. Прошу, царівно, в хату завитати

(До Клітемнестри).

Веди, нас, жінко.

Кас. (хапає його за руку).

Стій! Невже пора

ступати нам на шлях кривавий?

Агамемнон. (до Клітемн. й Егіста).

Що се?

ви як таке пророцтво зрозуміли?

Егіст. Вона не важить ся ступать на пурпур,
бо тямить, що не личить се рабині.

Клітемнес. Вона безумна, ти її не слухай.

Агамемнон (з тривогою, благаючи).

Царівно! Поясни, що ти віщуеш?

Адже тепера доля сього дому
вже звязана й з твоєю.

Кас. (з дивним спокоєм)

Знаю, царю...

Але не вір мені, цариці слухай,
вважай на те, що родич твій сказав
і не давай ваги словам рабині.
Колись була пророчиця Касандра, —
вона згоріла на пожежі в Трої,
слова її пророчі спонеліли
і вітер їх розніс ген-ген по морю...
Се іскорка одна була запала
сюди у серце простої рабині,
спалахнула на хвильку тай погасла.

(Дивить ся на свою патерицю).

Як чудно? де взялась ся патериця?

Чия вона? На що ся діядема?

(Здіймає з голови діядему і кидає під ноги Клітемнестрі.

Далі ламає патерицю і теж кидає до долу).

Тепер нема нічого від Касандри.

Царице, загадай мені роботу, —
я вмю все, окрім пророкування.

Агамемнон (бере її за руку і веде вперед у дім).

Царівна ти і завжди будеш нею.

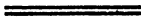
Клітемнес. (до Егеїста пошепки).

Нам треба два мечі. Ти нагостри.

Ти бий його, а я її потраплю.

(Сильний перун і раптова злива. Клітемнестра й Егіст спішно йдуть і собі в дім).

К і н е ц ь.



МИХ. ГРУШЕВСЬКИЙ.

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI ВІКУ ¹⁾.

Вступні замітки. Запад українського життя в XV—XVI вв.

Не припадом, за браком якоїсь живійшої теми вибрав я змістом отсі події, віддалені від нас трома довгими, повними змісту й значіння віками.

Мене потягло певне внутрішнє спорідненнє з нашою добою тих далеких часів. В обставинах, в яких приходилось жити й бороти ся українським діячам тих часів, в мотивах і ідеях, що одушевляли їх, — так багато близького, созвучного нам, особливо по тім, що пережили ми в останніх часах. Самі факти сього культурного руху переважно будуть вам звісні — ще з школи. Що більше — школа положила своє пятно на них в вашій уяві, звівши се жите до ряду неінтересних дат, сухих, нічим не цікавих імен, затасканих до тривіальности фраз. Перепустивши через призму офіціального історичного світогляду се жите, приліпивши до його проявів свої казюнні етикетки, вона позбавила вартости його зміст, зробила його таким же сухим і нецікавим. В сїм небезпечність таких „загально звістних“ тем. Але мині власне хотїло ся вирвати сі події з тих казюнних рам, ввести вас в се далеке часами й відносинами, але таке близьке своїм змістом жите. Хотїлось би оживити перед вами тих людей, їх гадки, надії й болї, скромні тріумфи й болючі невдачі, щоб разом з вами відчути те найдорожше й найліпше, що дає нам студіюваннє минувности — звязь і солідарність з поколіннями наших попередників в вічних змаганнях до того, чим стоїть і живе людське жите всіх часів. І коли мині удасть ся справді осягнути се, що в тих людях з перед трохсот літами почуємо наших попередників в змаганнях культурно і національно піднести наш народ, обстояти наше національне істнуваннє;

¹⁾ Публичні лекції читані в Києві 10, 12 і 15 падолиста (ноября) 1908 р., в першій серії лекцій, урядових київським Українським Науковим Товариством. Джерелові й літературні вказівки в V і VI томах моєї Історії України-Руси, тому тут їх не даю.

коли в їх боротьбі почуємо тіж зусилля противстати сліпій силі історичного процесу, а в цілій тій добі — одно з огнивого неперерваного ланцюха нашого історичного життя, якого найновіше, але не останнє огниво творимо ми — я буду вважати вповні сповненим своє завдання.

В середині й другій половині XVI в. Українські землі, актом 1569 р. майже в цілости включені в склад Польської держави, приведені в тісну зв'язь з її політичним і культурним життям, переживали часи глибокого занепаду й розстрою свого культурного й національного життя. Так само як і білоруські — що хоч не були формально включені тим актом 1569 р. в склад Польщі, але з тісною унією в. кн. Литовського з Польщею вповні підпали теж впливам польського права й культури та напливу самих польських або спольщених національних елементів. Взагалі завдяки тісним політичним і культурним зв'язкам, які лучили Білорусь і Україну, в життю українським і білоруським тих часів — XVI і XVII в. — було дуже багато спільного, і нам не раз прийдесть ся користуватися для ілюстрацій фактами й аналогіями білоруського життя, тим більше, що факти й події в сфері тодішнього культурного життя творили ся часто спільно, спільними силами української й білоруської суспільности. Але властивим завданням нашим буде — слідити культурне й національне життя земель українських і увагу свою звертати мемо головню на факти й явища безпосередню українського життя.

Акт 1569 р., прилучаючи до Польщі Волинь, Підляше, Брацлавщину й Київщину з Задніпровем, вінчав з формального боку процес підбивання Польщею українських земель, розпочатий два століття перед тим. Західня Україна — Галичина, Белзько-Холмське Побуже і Поділе були включені в склад Польської держави вже в XIV — XV в., і тоді вже український елемент мусів тут зійти далеко на другий плян перед побідником — елементом державним польським. Маса маєтностей роздано було тут особам польської народности або таким, що мали репрезентувати державний польський елемент. В містах зявили ся в великім числі привілеговані колонії на німецькім праві, які також, наслідком своєї католицької віри мали репрезентувати католицьку державність поль-

ську й польщили ся скорше чи пізнійше. Ще перед офіціальним заведенням польського права й устрою (що наступило в 1435 р.) польське право, організація, офіціальна латинська мова і неофіціальна польська широко опанували тутешнє жите тому, що були приуроченими річами для нової польської аристократії, і ті польські адміністратори, якими майже виключно обсажували ся тутешні уряди, в своїм урядованню й суді виходили з привичних норм і практик польського права й життя. Був з початку плян простої заміни і місцевої церковної православної ерархії ерархією католицькою. Плян сей прийшлося залишити з огляду на опозицію місцевої української суспільности — досить сильного ще тоді боярства. Але православної церкві, приривчаєній до становища офіціального, державного, прийшлося перейти на становище ледво толероване й випити чашу різних гірких кривд. Поруч неї як церкві неофіціальної організуєть ся з останньою чвертю XIV в. офіціальна, державна привілегіована церква католицька, і в львівській епархії, до котрої належала східня Галичина й Поділе, дійшло до того, що право іменувати т. зв. намісника для управи сеї епархії присвоїв собі католицький арцибіскуп львівський, і православним тільки ціною величезних заходів і грандіозних хабарів на королівськїм дворі удало ся добити ся відновлення православної ерархії в львівській епархії в 1530-х рр.

Українське боярство, хоч підірване конфіскаціями, в першій половині XV в. ще представляло досить значну масу, але неорганізовану, відтиснену від всяких впливів, а при тім класові інтереси дуже рано збили його з позиції яку диктували йому інтереси національні. З поглядів матеріальних, класових, зрівнянне Галичини з польськими провінціями обіщувало значні вигоди шляхті, бо мало зняти з тутешніх шляхтичів, а між тим — і з українського панства ті повинности й тягарі, якими була обложена шляхта галицька, а не знала шляхта польських земель. Класові інтереси таким чином захочували українське панство йти солідарно з польським в головних моментах шляхетської політики — в змаганнях до зрівняннє Галичини з иньшими провінціями Польщі, і до нерозривного з тим перестрою її на польський взір. Се в значній мірі вплинуло на те, що українське панство тутешнє не зорганізувалось окремо, а почало розпливатись в загальній

шляхетській масі. Відтиснене від впливових посад, від держав і надань — всього того, що в тодішнім життю давало силу й засоби, воно нишло й винародовлювалось. Єдина дорога до почесей, впливів і засобів лежала через виречення від своєї національності, і багато пускало ся на сю дорогу від початків. Маєтності українські переходили з рукою їх наслідниць в руки їх мужів Поляків, що обіщували блискучі перспективи, звязи й впливи цілій фамілії. Стрічаємо й такі випадки, де від жениха Українця, що сватає панну-Польку, жадають, аби перед шлюбом він перейшов на католицтво — розірвав свою звязь з своєю національністю, й він сповняє се. Завдяки всьому тому вже під кінець XV в. в цілій західній Україні в вищій, шляхетській верстві український елемент не грав уже ролі. Позоставались майже самі дрібні роди, без засобів і значіння, і се було великою утратою для національного життя тоді, коли шляхта вважалась одинокою політично-правосильною верствою, і тільки „народ шляхетський“ вважав ся властиво народом.

По містах — головних огнищах тодішнього культурного життя — український елемент був теж збитий на далекий плян. Міста були організовані на німецькім праві, а се оперте на основах строго католицької виключности і дуже неприхильне не-католикам. Православні здебільшого були вповні відтиснені від міської управи, їм навіть у цехи був утруднений приступ — то значить утруднена дорога до технічного образования, до промислу, так само до торгівлі. Се все — не кажучи про різні моральні пониження — засуджувало міщан-Українців на упадок і заникання.

Таким чином у всіх тих трох верствах, що мали якийсь вплив і значіння — політичне, культурне, економічне — серед шляхти, міщанства, духовенства — український елемент в західній Україні був відтиснений на далекий плян, подавлений, розбитий і засуджений на повільну національну смерть. Народня ж українська маса, позбавлена всякого голосу й значіння в політичнім життю, в сім часі підпала цілому ряду економічних і правних обмежень, тяжкому процесови закріпощення, що зробило з неї панський робочий інвентар. В національнім тодішнім бюджеті вона не грала ніякої ролі.

В українських землях, що належали перед 1569 р. до в. кн. Литовського, становище українського елемента здавалось

ліпшим. Кажу тут про Волинь і пинсько-припетське Полісе, бо східно-полуднева Україна, слабо колонізована, а з кінцем XV в. до ґрунту спустошена, не грала в тім часі ще ніякої ролі. Полишаючи отже її на боці, я Кажу, ще в тім волинсько-поліським поясі український елемент стояв ліпше — особливо на перший погляд. Ще не пробитим муром стояла тут українська аристократія, князі й пани. Хоч відтиснена від управи держави, що й тут мала бути виключним уділом католиків, замкнена в тісну сферу свого провінціального життя, ся українська аристократія була все таки богата, родовита і держала в своїх руках всі важніші посади місцевої адміністрації. Наплив польського елемента тут був слабший, бо й статут забороняв роздавати уряди чужоземцям, то значить Полякам, а навіть не позволяв переходити в їх руки маєтностям через женячку, хоч се й не додержувало ся пильно.

Але сили тутешнього українського елемента були в значній мірі ілюзією, бо були сильно ослаблені, атрофіровані самі підстави українського культурно-національного життя. Се зараз же виявило ся в другій половині XVI в., коли наступає тісніше зближенне сих земель до Польщі — одних через прилученне, других, що зіставали ся в складі в. кн. Литовського (як Берестейщина й Пинщина) — через тіснішу унію, і вони попадають в вир горячого нервового тодішнього польського життя, партийних відносин, культурної й політичної боротьби. Волинь, Браславщина, Київщина стали провінціями Польської корони. Репрезентанти визначніших місцевих родів, в ролі новопотворених воеводів і каштелянів засідають в сенаті, иньші беруть участь в сойманню як депутати своєї землі. По короткім істнованню місцевого трибуналу тутешні суди піддано загальному люблінському трибуналові як вищій інстанції. Хоч забезпечне актами прилучення, місцеве право й руська урядова мова навіть в місцевім діловодстві скоро дають місцеві мови латинській і польській, праву загально державному. Матеріальні інтереси й амбіції, бажання вирвати ся на ширшу арену з тісного провінціального життя втягають і вяжуть тисячними нитками нових горожан польської корони з польським житем. Треба було орієнтувати ся в нових обетавинах, коли не хотіло ся в них пасти задні, і українське панство Волини, Побужа, Поліся починає рішучо прощати ся з своєю патріархальною старосвіччиною, старасть ся

себе, а коли не себе — хто старший був і уважав свою житеву кар'єру скінченою, то своїх дітей способити до нових вимог, втручати ся в круг політичних і культурних інтересів, якими жила польська шляхта, входити в ближші звязи й зносити з репрезентантами польських фамілій, впливовими магнатами, з королівським двором, коронним трибуналом. Треба було їздити на наради сенату, на сесії сойму, на „роки“ трибуналу, пильнуючи своїх процесів, котрих кождий порядний пан мав по уха, на королівський двір — пильнувати ріжних своїх справ і інтересів, заручати ся протекціями людей, впливових на королівським дворі, слїдити за тутешніми відносинами, мати кореспондентів і речників в ріжних урядах і сферах. Треба було подбати про те, щоб у сім новім світі не виглядати медведем з польських пуц. Староруська культура, і так зрештою занедбана й зведена ad мінімум в ужитку життя, не надавала ся тут ні на що. Треба було натерти ся польською політурою та латинською — бо тільки латина, повне панованне над латинською мовою в слові й письмі, давала в тодішнім польським товаристві репутацію, культурного, інтелігентного чоловіка.

В результаті з густійшими масами волинського і польського українського панства повторяєть ся з певними відмінками теж, що стало ся з розбитими останками боярства галицького — вони асимілюють ся з польським. Одні не розриваючи з своєю народністю рішучо, зістають ся по імени ще Русинами, задержуючи те що для того часу було мінімумом національності — руську віру, але фактично вповні стоять на ґрунті польського життя. Інші розривають і ту останню звязь, що лучила їх з народністю — кидають віру „руську“, приймають віру „польску“ та пропадають вповні й безповоротно для своєї національності.

Поняте національності — таке елементарно-ясне для нас, в теперішній своїй формі являєть ся продуктом дуже нових часів. В давніших часах воно звичайно підмінювало ся скрізь поняттями иньшими — приналежности політичної, класової, релігійної, прикметами географічними, культурними. В старій Русі в тій сфері, яку ми тепер розуміємо як почуте національне, ріжницю робила перед усім політична приналежність — особливо на границі західній, в антитезі Русі й Польщі. Тоді як новоприйнята і неодомашена

вповні релігія не становила ще для суспільности, для народу того, що ми називаємо національною прикметою, і католик для православного Українця перед усім був тільки „християнин“, а не „зловірний і злочестивий“, в західній Україні дає вже себе чути різка антитеза Руси й Польщі як двох держав-суперників, традиційних політичних ворогів. І тільки пізніше сей політичний антагонізм загострюють ся різницею релігійною і культурною. Православна віра, що за ті століття з віри чужої, накиненої встигла глибоко вийти в жите, призвичаїти людей до себе, стати вірою батьківською, одною з найвидніших складових частей в тій сумі навичок і призвичаєнь, що становить елементарний, несвідомий підклад національного почуття, — зробила ся „вірою руською“ в протиставленню до католицтва Польщі. Русько-візантійська культура, що розвивала ся в тісній звязи з релігійним життям Руси, відрізняла все глибоше жите українське від життя польського, в міру того як се останнє переходить все більше під виключні впливи західньої, латинсько-німецької культури, бо ся остання — хоч не чужа й Україні, особливо західній — не мала тут такого виключного значіння як у Польщі. І так з часом контраст релігійний і культурний покрив собою давніший політично-етнографічний антагонізм Руси й Польщі.

Часи йшли. Старої Руської держави не стало. Зрадило її традиціям і в. кн. Литовське, що було проголосило себе спадкоємцем тої старої Київської держави й обіцяло стати новою „державою руською християнською“. І знаменем української народности на західнім фронті, що нас займає тепер, стає „русська віра“. Культурна різниця також, — релігійна різниця властиво, з нашого становища, була тільки складовою частиною того контрасту двох культур, в якім все більше вирізняється антитеза Руси-України й Польщі. Але церква була осередком і огнищем сеї культури, її найвиднішим знаком для своїх і чужих, і в очах сучасників покривала собою сей контраст культурний і — контраст національний. Віра ставала найбільш болючим пунктом в тих обмеженнях і пониженнях, які терпів тепер на кождім місці український елемент від переможних польсько-католицьких кругів, і по звичайній реакції ставала для сього пониженого українського елемента предметом особливого привязання, найбільш дражливым місцем його національного життя і zarazом національним зна-

менем і гаслом. В відносинах двох церков церква католицька визначала ся взагалі більшою нетолерантністю, виключністю супроти православних і заціпляла своїй католицькій, польській і литовській суспільности такі виключні погляди, такі зневажливі відносини до православного обряду, віри, культури, моральности. Коли з польською окупацією Західньої України в другій полов. XIV в. українська народність і її „руська віра“ стріли ся з привілеюваною народністю й державною вірою польсько-католицькою, релігійна справа стала болючим місцем сих відносин. На кождім кроці, тутешній Русин мав нагоду почути, що він схизматик, майже поганин, мусів боронити свою стару батьківську віру від плянів заміни її католицькою церквою, а себе — від різних обовязків на сю останню. Разом з тим він почув, що його народність, мова, культура, письменність уважають ся чимсь низшим в порівнянню з польсько-латинським елементом і що найвище — тільки толерують ся згїрдливо репрезентантами нової власти й привілеюваної народности. Він на кождім кроці мав уступати місце заступникам сеї привілеюваної народности, що відсували його від всяких почесних, впливових позицій і доходів, наступали на його маєткові й иньші права. І у всім сїм вихідною точкою, найбільш конкретно була справа релігійна. Православна віра під польським режимом не тільки сама підпадала ріжним ограніченням. Приналежність до „грецької схизми“ обмежала особисті, горожанські права тубильців-Русинів — в містах і селах, в користанню з привілеюваного німецького права, в промислових занятях, в шляхетських і міських урядах, в процесах і контрактах. Чому се так? — тому, бо в середновічнім суспільно-політичнім устрою, перейнятїм Польщею, все суспільне жите операло ся на підставах конфесійних, релігійних. Не-католику не було місця в цеху, бо цехи були напів релігійними організаціями й належачи до цеху, треба було брати участь в його релігійних відправах і церемоніях. Йому не можна було бути членом міського магістрату чи инакшим урядником, бо й се було звязане з ріжними релігійними церемоніями. Навіть простий процес йому було трудно вести, бо він не міг зложити законом уставленої католицької присяги. Русь бачила й відчувала, як відтискають її пани з привілеюваної польської народности й іде вона в долину, все більше переходячи на становище паріїв — і се все йшло

під окликом віри. Антагонізм національний загостряв ся моментами економічними, клясовими, і знаходив свою вищу моральну санкцію в мотивах боротьби релігійної, а навпаки — з свого боку робив більше болючим почуте економічного гнету й заогнював релігійний антагонізм. Такі відносини, в міру того як польсько-католицька політика давала себе відчувати тубильному елементови, а особливо в міру того — як під впливом її Русь зводила ся на сам демос, тратячи вищі верстви — сі відносини посували ся все далі й далі, обіймаючи цілу українську територію, знаходячи свій вислів в фразі католицького монаха, учасника задніпровських кампаній, свідка великих народніх рухів з-перед Хмельнищини: „як з природи своєї варвари ворожі не-варварам, майже так Русин Полякови“.

І сам по собі в сумі сих моментів ворожнечі, в огні якої кристалізувало ся національне почуте сучасного Українця, мотив релігійний мав особливе значінне. Культ, релігія — се ж для всякого чоловіка річ найбільш делікатна, найбільш вражлива на всяку зневагу, погорду, насильство, і тому на сій точці — не тільки найбільш конкретній і найбільш загальній для всеї Руси, без ріжниць її стану й приналежности, але й найбільш вражливій, — найбільш і концентруеть ся антагонізм Руси й Польщі. Се дає найбільше відчувати всяку кривду на сім полі, а різні різкі факти — в роді насильного відібрання православної перемиської катедри Ягайлом, з профанацією могил небіжчиків — руських князів, духовних й т. и., в роді піддання галицької катедри під власть латинського архиєпискупа, й різні насильства над православними крилошанами, які при тім мали діяти ся, незвичайно загострювали се почуте, давали йому незвичайно болючу інтензивність.

В хронологічнім порядку грамота Казимира з 1370 р. до патріарха в справі відновлення галицької митрополії служить першим документом заходів західно-українського боярства в інтересах православної церкви — відгомоном першої кампанії з правительством, що призначало на скасування православної церкви. В XVI в., з упадком українського панства, боротьбу веде галицьке, передовсім львівське міщанство. В XVII релігійні утиски, польські замисли на знищення православної „благочестивої“ віри стають агітаційним мотивом для широких народніх мас, для великих всенародніх, а го-

ловно селянських повстань. Під релігійним прапором козачина веде свою боротьбу з правительством і звертаєть ся до участі й помочи в ній, в інтересах „руської віри“, до народніх мас — з одного боку, з другого боку — лучить ся під сим окликом з репрезентантами вищих українських верств, чи їх останками — з міщанством, духовенством, навіть шляхтою. Прапором релігійним заступаєть ся прапор національний, і під окликами інтересів релігії ведеть ся боротьба задля інтересів національних, політичних, з мотивів клясових і економічних; під окликом спільної боротьби з католицтвом шукають православні союзників між польськими ріжновірцями при кінці XVI в., під окликом охорони православної віри добувають заграничної помочи против польського уряду, против польського шляхецького режиму (уже з кінцем XV, потім під кінець XVI в., і ще серіознійшим стає се в XVII в.). І під тож релігійною поволокою переходить до пізнійшої традиції весь сей національний українсько-польський конфлікт, з тушованнем иньших мотивів — економічних, політичних, національних.

Центральне значінне церкви в національнім життю України сих століть по сказанім буде ясно. Буде ясно, чому ми шукаючи проявів національного життя, будемо шукати їх в сфері релігійного життя, і факти з сеї сфери будуть нам служити симптомами руху культурного й національного. Релігія се прапор національності в тім часі, антітеза конфесій православної й католицької се антітеза культури русько-візантійської й польсько-латинської. Церква се предмет особливої уваги й опіки української суспільности, заразом показчик її національної сили й значіння, пульс її національного життя, її динамічної енергії.

І от з сього становища незвичайно зловіщим симптомом стає той розстрій й упадок церкви й церковного життя, який ми помічаємо на Україні, і Білій Русі також, в середині XVI віку. Не було се спеціальним явищем українського та білоруського життя: такий же упадок церкви й церковного життя бачимо і в Польщі і в Німеччині в передреформаційну добу — тільки там се не мало такого важного національного значіння. На Україні на се зложили ся ріжні причини. Мав важне значінне той факт, що православна церква прийшла в залежність від байдужного їй або й ворожого католицького правительства, яке присвоїло собі право роздавати вищі право-

славні духовні посади по своїй волі й роздавало їх за прості грошові оплати чи за всякі услуги, зовсім не церковні, людям, що дивили ся на свої церковні посади, як на джерела доходів, розхапували їх доходи й церковні маєтності. Вони доводили тим церкву до повного розстрою і разом — своїм цинічно-матеріалістичним, крайно егоїстичним трактуванням церковних справ і засобів знеохочували до церкви й її потреб і вимог православної суспільність, коли вона бачила сю церкву представлену такими непрошеними „пастирями“. Сама така церква, при звичаєна за староруських часів до ролі церкви офіційної й державної, до правительственої помочи й опіки, не вмiла знайти ся в новім положенню, не вмiла знайти собі точку опертя в суспільности й організувати її навколо себе.

Нарешті крім загального упадку церковних інтересів в державі, крім впливу реформаційних кличів против церковних доходів і маєтностей, що ширили ся в шляхетських католицьких кругах Польщі й Литви, я припускав би у сім напрямі й впливи більш тривких причин: самого пониження української, чи взагалі православної церкви, скиненої з становища державної, правительственої церкви на становище релігії низшої, якій на кождім кроці й правительство й репрезентанти нової офіційної церкви давали почувати її низшість, трактували як результат непросвіщенности, некультурности тої Руси, яка держить ся за неї. Коли в одних членах української суспільности нужденний стан української церкви викликав тим більше піклованне, змагання до її подвигнення й ліпшого забезпечення, то у далеко більшого числа міг він збільшати індиферентизм і легковаженне до неї. Навіть у тих людях, які вважали потрібним держати ся її — чи з щирого довіря до її спасенности, чи по фамілійній та національній традиції, — пониженне української церкви, її тяжке становище, погорджуванне нею зі сторони чужих і багатьох своїх, мусіло викликати певне легковаженне. Такий український маґнат, що опікував ся православною церквою, ледви чи був свобідний він почути, що він з свого суспільного становища знижаєть ся до неї: робить їй ласку, коли держить ся сеї пониженої, малокультурної релігії й прикрашає своїм іменем і фірмою сю релігію низших верств, народніх мас. І так дивили ся на себе не тільки самі репрезентанти сих панських кругів, а такимиж очима гляділи на них

і репрезентанти церкви, її вищої ерархії — се пробиваєть ся досить виразно в кореспонденції владиків, а навіть і митрополитів з ріжними українськими магнатами.

Людям навіть найщирше привязаним до неї, українська церква і все звязане з нею не могло вже в сих часах дати того, що давала — у що вводила церква в часах староруських. Понад заспокоєнне в питаннях совісти — „мира чоловіка з Богом“, уживаючи вислову одного з старих українських богословів, вона могла дати певне вдоволенне національному почуттю чоловіка — можливість чимсь проявити своє привязанне до своєї національної традиції, як з другого боку свідомість суспільно-політичного упослідження і культурної низшости сеї національної церкви робила з неї вічно болочу рану національної амбіції й свідомости. Культурний же зміст православної церковности — себто ті сфери культури, які стояли в ближшій звязи з церквою і в її опіці, слабли і упадали протягом тих століть (від половини XIV до половини XVI), — в парі з ослабленнем українського елемента, з упадком і збідненнем церкви, висиханнем його візантійсько-словянських джерел. Все менше сеї культурний зміст міг задовольяти культурні потреби вищих українських верств, все більше давала себе почувати його низшість в порівнянню з тими культурними засобами, якими розпоряджала церковність і звязана з нею культура латинсько-німецько-польська — католицька одним словом — і з тими потребами й жаданнями, які висувало жите.

В західній Україні — в коронних землях, уже з другою чвертю XV в. руське письменство рішучо не здавало ся ні на що більше окрім церковної служби та побожної християнської лектури. Руське письмо, уживане ще в діловодстві поруч переважного латинського в другій половині XIV і початках XV віка, далі виходить з діловодства зовсім. В українських землях в. кн. Литовського, ліпше охоронених від польських впливів, урядова руська мова держить ся в повній силі до самого прилучення до Польщі (1569) та забезпечает ся правительством і на пізнійше. Але вже в 1570-х рр. на Волини в панських кругах знанне і уживанне руського письма диктуєть ся більше національним пієтизмом, як практичними, реальними потребами. Репрезентант елементів горячо привязаних до своєї народности Вас. Загорівський в своїм теста-

менті 1577 р. уважає потрібним спеціально заохочувати своїх синів, „аби писма свого руского и мовенья рускими слови не забачали“. Значить відчувало ся вже, що з під руського письменства, руської книжності усуваєть ся ґрунт: вони тратять свою *raison d'être* в реальнім житю. Без латини й польської мови не можна було порушити ся в практичнім житю. Ще гірше було, що свійське письменство і що до змісту самого не давало майже нічого цікавого, нічого потрібного сучасному чоловікови, що хотів жити й іти з духом і потребами часу, і за всім, що треба було знати культурній людині, приходило ся звертати ся до письменства латинського, польського — одним словом „католицького“. Відчувало ся банкруцтво не тільки школи, а й самої культури свійської супроти вимогів житя.

Се ставило в дуже трудне становище українську суспільність. Приступ до латинських шкіл був як не завсїди, то дуже часто загорожений для не-католиків, а свої школи не сягали наук латинських.

Звичайним типом школи зоставала ся давня церковна школа, що найчастійше вчила тільки читати, а як писати то церковним полууставом, рідше скорописю. Ся школа була тепер розповсюднена широко, але давала тільки перші початки, а організованих шкіл вищого типу не було — знане, літературне приготування здобували ся самоосвітою, або діставали ся від більш освічених одиниць. Такі одиниці з читанням і певним літературним утворенням не переводили ся весь сей час, але загал духовенства і світської суспільности не підносив ся значно над ті початки, дані школою, і тому критики українського житя завважали злорадно, що воно не має иньшої школи, иньшої науки крім простого читання, і його духовенство „тільки в читанню доктори“.

Книжність і особливо книжна творчість, скільки можна судити по приступному нам матеріалу, переживала в сих часах період застою. Книжний запас зростав, як працями місцевих книжників, так іще більше напливом перекладів з иньших земель — полуднево-словянських особливо, але глохне й занепадає творчість; літературного руху до другої пол. XVI в. не бачимо нічого.

Не бракувало людей з теологічним і літературним приготуванням, які при нагоді могли себе з сього боку показати

не зле, — але по за чисто практичними потребами бракувало, видно, стимулів літературної творчості, бракувало того духового руху, який стихійною силою втягає в себе людей та каже кожному смілійшому пробувати своїх сил на полі духової творчості. Так принаймні виглядає з того, що ми тепер маємо і знаємо. Чи візьмемо акти собору владиків українських і білоруських з 1415 р. (в справі вибору Цамблака), чи на столітє пізнійшого виленського собору 1509 р. — чи послання м. Місаїла до папи, чи поучення на сто літ пізнійшого м. Сильвестра новопоставленому сьвященнику — всюди ми переконаємося, що в вищій ерархії не бракувало людей з богословською й літературною рутинною, але пропала енергія творча.

Виглядає се на антитезу старої Руси, коли „нові люде Христові“, зачерпнувши дещо нової науки, спішили предложити її в своїй популяризації „новому стаду“, — і сих переломових часів, коли церковні круги, стративши опіку в горі, а не знайшовши ще активного попертя з долини, зсіли ся й підігнали ся, стративши всяку фантазію до ширшої культурної роботи, всякий апетит до літературної чи суспільної ініціативи й замкнули ся в свого рода консерваторській діяльності. Старали ся можливо старанно задержувати староруську церковну традицію, староруський доробок книжності й літератури; старали ся заховати ті матеріальні джерела й засоби, якими розпоряджала православна церква, її конфесійну окремішність від латинської й ерархічну звязь з царгородським патріархатом, її правно-політичне становище в Польсько-литовській державі, її права й юрисдикцію — і консервувати можливо тихо й скромно, не наражаючи ся, не виступаючи різко, беручи пасивним опором і консерватизмом, а не відкритою боротьбою. Прав і потреб православної церкви отже боронили не полемічними трактатами, а петиціями, або фальсіфікатами — різними псевдо-староруськими „Ярославовими свитками“, псевдо-Львовими грамотами і пів-апокрифічними „записями на евангелиях“, при догідній хвилі предкладаними до правительственного потвердження.

Якоюсь сумною покорою, свідомістю своєї безсильности і безвиглядности віє звідси. Книжні запаси богословської літератури, нагромаджені віками, припадали порохом, як завважає автор Перестороги. Вони стратили інтерес, ставали архаїзмом

супроти нових потреб і напрямів життя. Нова література, при-
норовлена до потреб і інтересів широких кругів, йшла з заходу,
але цікаво — перекладів з неї на українсько-білоруську мову
стрічаємо назвичайно мало. Представники книжності, літе-
ратурности, почувши як жите обминає їх, безнадійно спусти-
ли руки, навіть не стараючи ся приноровити ся самим і при-
норовити свою книжність, літературу до тих нових потреб
і вимог життя і в почуттю своєї безсильности й непридатности
для суспільности замикали ся в свої келії й церкви.

(Далі буде).

ХРИСТЯ АЛЧЕВСЬКА.

Я сонце волі викликала
Я гасло вликала життя
І лише сум людський спіткала
І ніч без гасла, без пуття...
Краси я в темряві не вздріла,
Не відчувала в ній тепла,
Неправда серденька не гріла
І дійсність „правдою“ була...
І я од неї одсахнулась,
Уйшла від сили ворогів,
Душа в орлицю повернулась,
Душа злетіла до богів:
„Неправда й гніт колись минуть ся“,
Бреніла пісня в ній на дні —
„Краса і гордість стрепенуть ся,
„Сїяти будуть ясно дні;
„Краса ніколи не минає
„В природі вічно молодій,
„Вона спокоем все сповняє
„І рій спокликує надій;
„Краса не віда горя й ночі,
„Її деспотство не зміня,
„Вона зверта у небо очі,
„Де сонце вічнеє сїя!“...



МАРКО ВОВЧОК.

ПРОЙДИСВІТ *).

Вже ніде нема такого широкого степу, веселого краю, як у нас. Таки нема, нема, нема та й нема! Де такі тихії села? де такі поважні, ставні люде? Де дівчата з такими бровами?

Згадати любо, побачити мило, тільки що жити там трудно.

Отсе ж то у нашому краї був хуторець собі маленький, Божовка. Хуторець стояв під дубовим гаєм, — усього пять хаток по горі біліло; гора зелена, низька, а по-під горою річка тиха, а чиста така, що хоч чепурним в неї вдивляться. Від хуторця один шлях вив ся — увивав ся до того дубового гаю, а другий шлях слав ся геть-геть по степу у село Рокочи.

Найкраща хutorянська хата стояла близче до гаю. Гарна була хата. Коло неї садок славний, город хазяйський. Не пусто було в оборі, весело на дворі.

Жив у тій хаті господар Юхим ¹⁾ Чабан, славили, чоловік заможний і розумний. Жінка його вмерла давненько, йому залишила дочку одиначку Марту. Дівчині вже полічили сімнадцять років, а така викохала ся дівчина, що хоч малюй, хоч цілуй.

У Божовці хати не стояли одна проти однієї, а стояли хати там у розсип; одна хата у право, друга геть у ліво, одна низче, на пів-горі, друга вище, на самому горбочку. Від кожної хати стежки розбігали ся попутані і поперепутувані як нитки. Найблизча сусіда у Чабана була Рясничка, удова з сином своїм парубком; далі на одшибі жили Кожушки, стари

*) По українськи був друкований тільки початок сього оповідання в „Вечерницях“ 1863 ч. 10. В перекладі з російського видання (відмінної редакції) надрукований був кн. III Народніх Оповідань, виданих Видавничою Спілкою. Подаємо тут початок з „Вечерниць“, а по нім ту частину, що знайшла ся в паперах пок. Марії Олександровни; вона відповідає розд. VIII—XVI російської редакції.

¹⁾ У „Вечерницях“ не гаразд прочитали і видрукували: „Юхим“.

одинокі люде, а ще далій, у бік коваль Гарбуз кував, а за ковалем хирів хромий москаль Щименко, що одслужив праву ногу не знать на що, і вислужив хрестика не знать за що.

Одного весняного дня Чабан сидів коло своєї хати на призбі, одпочивав та журился, що йому не вродила торік пшениця і міркував, чи вродить вона сього року. Чабан був чоловік мужніх літ, крепкий, високий, плечатий; шия в його була довга, а голова невеличка, горда; він підголював ся і чуб сивоватий закручував за ухо; брови в його чорніли як п'явки; погляд був соколиний, а ус такий, що вітер мав їм, як кійлом. На йому була сорочка біла полотняна — дочка її красно померejala, — і білі полотняні шаровари.

Він сидів трохи похилившись, та не так, як хилять ся хиренні люде, а так, як сама сила клонить ся одпочиваючи, — сидів і міркував і поглядав округи себе на степ, на поля, на гай — усе розвивало ся і розквітало. Сонечко не виходило з-за біло-димчастих хмарок, а було тепло та тепло — наче чуло ся, як трава з землі виростає. Пахло як медом солодким і першим пахучим листом. Нікого не було видко, а чутно було, як Марта співала, у військо козака випровожала, пораючись у хаті, та чуло ся — коваль кував, а за гаєм лунало. Стукнули дверима у сусідчиній хаті — сусідка Рясничка вийшла з дому — жіночка жвавенька, чепурненька, кирпиченька, окатенька — а за нею парубок великого зросту, свіжий та здоровий — тільки що не говорив: „Добре їм, добре сплю, добре роблю“.

Чабан їх зачув і зобачив, хоч оком не скинув і ухом не повів. Рясничка швидко опинила ся коло Чабанової хати і повітала ся:

„Добрідень, сусідоньку! Як вас Бог милує?“

„Спасибі“, одказав їй Чабан і повітав ся з Рясниченком.

„Отсе, як Мартуся виспівує!“ каже Рясничка. „Пташко моя! Здорова була!“ Марта почула голос і вітання, виглянула з вікна і привітала ся.

„А ми отсе до гаю ідемо, — а ви ще не беретесь?“ каже Рясничка.

„Кожушки щось спізнались, та нема й коваля — нема й москаля. Чи не побрались вони поперше нас? Чи ви їх не бачили, сусідоньку?“

„Ні, не бачив“, одказував Чабан.

„Коваль кує, — чуєте?“ промовив Рясниченко до матусі.

„Чую, чую — кує. Якась гайна робота. Посижу я трохи біля вас, сусідоньку“.

Та й сіла біля Чабана на призбі.

„Мартусю, виходь бо до нас, — нехай тебе побачимо!“ гукнула Рясничка. Марта вийшла з хати і сіла коло сусіди.

Рясниченко, закинувши сокиру на плече стояв проти Чабана, а очі йому так і заводило до Марти.

Марта сиділа собі вільно, як справдешня пташка.

„Отсе яка весна тепла!“ каже Рясничка. „Хліб вродить. Вчора дивилась я на жита, то такі жита, що й вузь не пролізе. В мене в городі так то гарно сходить усе! Тільки що товар в мене не дуже викрашаєть ся... а в інших товар то як гора! Така-то вже доля моя! Що ж! у чуже щастя не вкупитись! Чи памятаєте, як чоловік мій покійничок державсь на світі? Як жив чоловік, то й роскоші були... та вмєр чоловік. Усі помремо, а поки що, то треба жити“.

У Ряснички річі були похопливі, бистрі, перебивчиві — розкочувались наче те намисто порване у всі боки й на всі сторони.

„А що, вашого наймита ще нема?“ спитала вона Чабана. — Чому ж досі не йде він? Аже ж ви погодились із ним, казали учора в вечері: він буде. Чому ж не прийшов?“.

„А прийде, так скаже, чому“, — одказав Чабан.

„Усі вони, ті наймити однакові! Не дурно то говорить ся: наймитку! чому рано встаєш? — Та я, каже, надолужу, то умиванячком, то одяганячком. Дякую Богови, що в мене свій парубок...“

Марта промовила:

„Он коваль іде; за ним іде й москаль“.

„Еге ж, еге, йдуть обое!“ каже Рясничка. „Бач, як коваль стежку міряє! А викоптив ся ж він, світе мій! А той побідома за їм коливає — блід на виду, і вмирати йому скоро. Що вже ті москалі нещасливі, то крий Мати божа!“.

Коваль додміряв до Чабанової хати, зо всіма привітав ся, став коло Рясниченка й на Марту пильно подивив ся. Коваль світив добре очима; з себе був сухий як перець, горбоносий, русявий і наче б то похмурий од якоїсь своєї думки, а ще більш прихмуряла його сажа ковальська.

„А ми вас чекаємо“, — каже ковалєви Рясничка. —

І Кожушки спізнали ся. А вже ж старії люде охаючи йдуть на роботу. Сьогодні ранесечко я бачила, хтось до вас строка-того коника приводив кути. Такий коник славний! знакомий, мабїть, чоловік у вас був?”

„Знакомий, та ще й кум“, — одказав їй коваль.

„А я свого кума давненько не бачила, — і куму не бачила — аж нудно міні за їми!“

Москаль приколивав і вклонив ся. Нездужий був се чоловік, слабий.

Він схилив ся на свої ключки й важко оддохнув. Його питали про здоровя.

„Яке здоровья!“ одказав він з-тиха та з-глуха. „Гибїю. Слабую дуже на голову й на очи. Було колись здоровя, та пожило ся“.

„Треба б вам людей поспитати, лїків пошукати“, радила йому Рясничка. „От чула я“...

Москаль тїлько рукою махнув.

„Бачте, які ви!“ стала вона йому дорїкати. Тут надїйшли старї Кожушки — вона до їх заговорила. Кожушки тї були собі тихї люде, чоловік і жінка; у їх було й хазайствечко опоряджене, і про смерть усе наготовлене.

Чабан взяв з хати сокиру свою — усі пішли до гаю купю, чоловіки на рубання, а жінки на збїрання, — одна Марта зостала ся дома.

Вона сіла з шитвом близько своєї хати під вербою, шила та співала.

Час минав, а прохолоди усе не спадало. Сонечко не вибило ся з хмарок, — Мартї здавало ся, що як-би ще сонечко вибило ся та гаряче заблискотїло, то б ізвїлило її як тоне-сеньку квіточку. Марта вже й співати не співала й шити покинула — почала її дрїмота хилити. Коли хтось до неї підїйшов — вона стрепенула ся. Підїйшов парубок; стан гнучкий, ставний, сам молодий, чорнявий, гарний та смутний — він до дївчини не всміхнув ся і без жартів з нею привїтав ся. Він питав її за Чабана.

„Се мій батько“, одкаже йому дївчина. Батько до гаю пішли на рубання. Чи вам їх хутко треба“?

„Я наймит“.

Тодї Марта згадала за наймита, що батько погодив.

„Батько вас дожидали“, промовила вона.

„Я й прийшов“, — одказав наймит.

„Ви мабуть ще не обідали?“.

„Спасибі, не хочу. Коли ваша ласка, то б я води напив ся“.

Марта швидко винесла з сіней холодної води наймитови. Вона йому: „Доброго здоров'я пивши, а він їй: „Спасибі вам“, та й годі. Наймит сів на призбі та й сидів як мурований, дивлячись у землю.

Марта взяла шитво та й нашила замість полоховки ляховку.

Усі її думки грали коло наймита. Вона бачила, що сорочка й шаровари в його приношені, з латками, що червоний пояс вицвів, прибілів — в думці вона його убрала як найлучче й таким червоним поясом підперезала, що аж очи в себе бере. Красна-красна вся одежина! А наймит сам! Чи він дуже б покращав, як би чепурно вбрав ся?

Вона на його подивила ся і знов пороїли ся думки — та вжеж не за те, як його вбрати, а за його самого — мабуть вже кращого не треба було. Які в його мислі?

Хотїла вона, та не знала, яким перед ним словом примінитись.

Наймит і разу очей на неї не звів. Марта мислями далі та далі забігала — вгадувала вона, чи не покинув когонебудь наймит, і де покинув? і яка його доля буде? і питала ся вона, яка її, Мартина доля вийметь ся в Бога? як житиме вона, з ким? як вона помре?

Чому наймит не розмовить ся? Чому б то не знати наперед чоловікови, що йому трапить ся на віку?

Почало повівати прохолодою, а хмари сизїли; у лісі зашуміло, пускав ся ¹⁾ дощ іти, блискавиця блискала з-рідка і грім по грому вив здалека глухим грукотом.

„Гроза буде“, промовила Марта.

Наймит не одмовив їй, тільки поглянув на хмари.

Наближувала ся гроза. Марта придивляла ся округи, наче б його хотїла мислі свої прикласти до щоденного діяння й пеклування — і згадала, що у дворі треба сховати від дощу зерно, що сушить ся, а в садку постягати полотно, що білить ся.

„Ой лихо! а в дворі зерно! а в садку полотно! казала

¹⁾ У „Вечернях“ : спущався.

вона та й побігла швиденько. Наймит за нею пішов, як наймит. Разом вони зерно приховали й полотно постягали.

Почули ся голоси помішані — се з гаю поспішали ся до-дому, від дощу втікали по хатах.

Чабана стріла дочка на порозі. „Втік від дощу“, каже він. Побачив свого наймита.

„Здоров був, Максиме! Сідай!

Обое посідали, наймит від господаря оддалік. Марта десь у куточку.

„Трохи ти спізнив ся, Максиме“, озвався Чабан.

„Спізнив ся, добродію“.

Дощ вже ливенем лив, а за дощем град сипнув, як з кошика.

„Ге-ге!“ каже Чабан: — пропав хліб!“¹⁾

Коваль був чудний собі чоловік. Любив він гарно вбирати ся, бо ставив себе, що він коваль над усіма у світі ковалями. Слухайте бо! Який же коваль не ставить себе над іншими ковалями у світі? Скажіть, признайтесь передо мною, як перед вами. Се кажу я на глум, а зараз візьмуть на ум і порішати, що коли я такеньки кажу, то вже певно що якась відьма мені кума, або якийсь з пекла родич і спокусив мою душу на віки; начеб то говорячи про вовка ніколи не кажуть і за вовка²⁾). То чудний, кажу, був собі чоловік той коваль — одягнеть ся було гарно-прегарно у неділю, розчешеть ся гладенько як бабусин унучок, уса розправить наче на сметану впова, то що ж думаєте? А посуне до гаю, у самі гущі, або до степу на самі пустині й похожає сам у самоті аж до смерку. Що він дума, що гадає, на що замишляє, святий його знає, — а сказати на очевидь тільки хиба те, що як набреде струмочок або озерце або яку таку воду, то стоїть над нею й вдивляеть ся наче журавель цибатий — мабуть вдивляеть ся, який в Бога вдав ся.

Одного недільного вечора коваль вбравши ся гарно та ще й до того сам у тузі тай в притузі, у думі тай у мислях надів чорну шапку з закотами тай посунув просто до гаю.

У хуторі було тихенько як у вусі. Сонечко заховало ся. Кожушки сиділи коло своєї хати, годували чубатих улюбле-

¹⁾ Досі видруковано у „Вечерницях“.

²⁾ Ся фраза дописана олівцем.

них своїх курей просом; москаль лежав коло свого порогу. Рясничка з сином поїхала до куми у гостину й ворота їх причинені; травиця усюди зелено зеленіє, а вечірне проміне її покропля своїм золотим кропом, а вітерець тепленький повіває... А Чабанова хата стоїть наче пуста...

Тут скажу я вам диво: йшов один коваль, еге? Один а так наче було два ковалі. Один коваль думав, еге? Один, а наче думали два ковалі. Перший коваль бачив, що Чабана нема, а другой коваль вже чув, що Марта не в хаті; перший коваль хотів запобігати думкою, де поїхав Чабан, а другий коваль сваволив: на що тобі Чабан? ніби говорив: на що тобі, куди він поїхав? Куди вона пішла? Де вона поділася — от що! Перший коваль мусів погодитись і вже в одно почати думати.

Де вона справді? Може гуляє? Може стринеться?..

Йшов коваль присмерком. Сонечко усе низче заковувалося. Такий теплий був вечір, що ковалеві здавалося наче хто теплою на його дихав. Він забрався у саму пущу; там усе наче наслухає кого. Вітерець прошурхне, ніби ще прикаже: слухай! слухай! хутко, хутко! тут! там! й пропаде. Оглядайся собі скільки хочеш, де дівся. Продирався коваль у пущі і здихав собі глибоко на волі, коли голоси йому почулися недалечко — він зараз поправив шапку й подивився округи себе зовсім розумним чоловіком; не вбачивши душі живої, він наставив цікаві уха й почав прислухатись.

— Та ти ж в мене одна, як у цілім году весна! — промовлено, наче б хтось дуже втішався тією весною чарівничою.

Чий се голос? Хто се промовляє? — запитав коваль самого себе й щось вхопило його за серце, як гадюка холодна й вжалила.

От одказують — се Марта говорить, се Марта кохає! Ковалю наче грім вдарив — стояв наче у землю уріс — слухав. Довго він слухав й усе говорили, не вгавали.

Господи! де вона таких слів навчилася, що вони одному серце крають, а другому світ у гору піднімають! Коваль, наслухавшись, ще побачити хотів — потихеньку, помаленьку розгорнув віти ще тії дубові — як добре вбачив він обоїх: вони наче з золота червоного виляті блисконули йому в вічі. Сидять близьенько, говорять вірненько. Він пустив віти й прихилив ся до дуба сам — ніби одпочити, достояв — наче б то

одпочив, потихесенько вибравсь з пущі й тихо пішов собі до дому...

Йшов він тай йшов, а округи все темніло й вечеріло; ніхто не стрічавсь. Та йшли попліч з ковалем двоє — молоді й щасливі, близенько й рідненько з собою — і в ухах у коваля дзвонили слова тії благіі й палкіі, одно по одному добре, врозумно, немилостиво... З великого жалю він зблудив ся з шляху знайомого й зайшов від хutora на степ, до чужого гаю, до далекого озера. Місяць вже світив, зорі сяли, роса пала — він усе ходив, тай ходив, тай ходив. То хутко йшов, наче б то утекти чогось, наче б то у пораду яку собі, то знов становивсь і стояв гірко — спробував сісти й не в могу: чи ходив — пара кохана йшла попліч, чи стояв — ставала поруч, чи сидів — садовила ся о бік й усе коло його, поруч його, перед очі, усюди горіла вона як з горячого вогню, й його палила наче полумя чута розмова...

Чи ніхто з вас того не дізнав — ге? Як хто коли дізнав, нехай тільки помяне — або ні, нехай лучче не пригадує, а слуха, що буде далі... Далі зорі поховались, місяць зник і почало на день, на світ займатись. Коваль втомлений, наче збитий, занудивши своє серце, заросивши сині шаровари повернувь до дому та й ліг на лавці, й став обмишляти, що його тут робити, як його тут бути? Чи ж раз чи двічі він себе запитував: що ж його справді робити? як його бути? Знаю що раденькі почати навчати з усіх боків, бо чужа біда і складна і гнучка на пораду і раду, а як своя прийде, то й розум гнітить і серце жалить і вся вага десь подінеть ся й всю раду хтось украде — хоч з мосту та в воду! На все замишляеш і нічого не порішаеш, усе й ніщо, а мислі як ті пороги дніпрові крутять ся, шутять ся, ні біжать, ні стоять — а із усього виходить одне: нещасливий я, дурний і не коханий.

День настав, був і минув, а коваль і забув думати, що сонечко сходить, світить і заходить, сидів у своїй хаті наче який темний, сліпий, глухий чоловік. Та як звечеріло й соловейко щебетнув, як же він ехаменув ся тоді й вхопив шапку й помкнув ся з хати — куди? питаєте. А вже просто до гаю.

І от він у гаї, на тім самім місці... от сеє місце... ось воно... а ще їх нема... певно зараз будуть. Чи вони разом прийдуть, чи одно по одному? Марта буде перша тут... світе

божий! то то-ж вона теперки поспішаєть ся! Зараз певно тут вже буде!

Вгадав коваль — таке, бачте, враже, ото як скажешь, наче по мальованому виходить, а як що добре... Вгадав коваль, кажу, Марта прибігла, ледве дихає, покликала: Максиме! Максиме! подивила ся у всі боки й стала дожидати... хутко й наймит прибіг ламаючи віти по дорозі, валячи кущі.

— Тут, кохана? — вимовив наймит наче скарб несподіваний набрів, а сам щасливий аж трусить ся. Як же ти встигла?

— Я поспішала ся до тебе. І чутно по слову, яково було поспішати ся, яково побачити ся...

Що дня вони бачили ся й що дня коваль теж приходив за свідка й бачив, як вони вітали ся й прощали ся, чув як розмовляли й журили ся. Що дня знав коваль, яка думка, яка сподіванка найшла ся в Марти, знав, яке лишко уразило наймита — на що вони важили, чим вони смугили ся; усе він відав сидючи по за кущами тихо, з своїм пожаленим серцем ревнивим...

Не можна потаїти сильного кашлю та доброго кохання й від дурня, — кожен се зна, то й не диво, що й Рясниченко, простий парубок, завважив якое, що в Марти очи темніють і сіяють не по давньому, що голосок дзвенить иначій, що зацвіла вона повним цвітом, і залюбував він дівчиною не в завміру, а залюбовавши став горнутись ближче, як тільки душа його насміляла. Раз у раз він їй стрічав ся, куди вона піде. „Добридень! Добривечір, добраніч, помогай біг, щастливо, здоровенькі були!“ тим усім щедрих він, так що колиб тільки усе по його слову чинило ся, то щастя — здоровля в неї було б чорзна поки. Зпершу почавши слідувати дівчину любуючи, він не вважав на те, що дівчина бере стежки инші як він, а тільки думав, як би її перестріти, а далі вже мусів завважити, що дівчина просто звертає, зобачивши його. За що? Чому? — запитавсь бідний парубяка дивуючи. Може за що-небудь угнівалась? Отже як насмілю ся, то й поспітаю її... Насмілявсь він може із тиждень, вже не присуваючись близько, а [ходячи здалека, мало господарством своїм тішачись, не смакуючи вареники, у ночі перевертаючи подушку під головою...

В Ряснички на той час було багато діла: і в городі, і в господі, з нитками, з полотнами, з ягодою й з овочами, з плодом, то можна було вберегти ся її никливого погляду, її цікавого розуму. „Що це ти наче не здужаєш трохи?“ спитала вона парубка одного вечора, як він повернув ся з поля, та вона глянула на нього. „Голова трохи болить“ — одказав парубок звичайно, як одказують у всі віки парубки тоді, як болить у них біля лівого боку. „Напийсь молока зараз, сину, — свіженького молока“ — й зараз унесла йому молока глечик і подала: „Пий, пий, сину, більш — се добре, pomoже тобі. Се мабуть в тебе від спеки.“ Пив парубок як молодий бичок, поки аж побачив денце. „А що, полегшало?“ спитала мати.

— Трохи полегшало ніби, — одказав Рясниченко. — Піду ще прожоху ся. І пішов з хати.

Самі мабуть вже знаєте, чи помага солодке молоко від жалю коханого, й поскорбите за парубка, що вийшовши з своєї хати зупинив ся й зажурив ся і не знав що робити — не вмів себе порадити.

— Ну вже тепер як тільки насмілю ся так і підійду і спитаю усе, — аж у голос промовив бідолаха. Як усе стихло й стемніло зовсім, він вертавсь до хати своєї й молоді сльози заросили йому обличчя як дощ ливний...

— Чого він за тобою ходить? Чого він на тебе дивить ся? — промовляв наймит до Марти, аж чорніючи на лиці з туги та з гніву. — Він тебе сватати хоче, я знаю! Він жених, він не наймит. Що ж Марто? Може прийдець ся на весіллі вслуговувати?..

— Що робити кажеш, коханий? — питала Марта. — Як мені бути?

— Я не хочу, щоб він усліжував за тобою! Я не хочу, щоб він на очи мені навертавсь усюди... От вже осінь, що дня сподівайсь, тебе прийдуть сватати... Як мені погібати?

— Я не піду ні за кого, коханий, — як не тобі, то й нікому не дістану ся.

— А батько велить, присилує, приневолить...

— Не присилує, коханий, ні!

— Шарпатиме, мучитиме що години, що хвилини.

— Нехай й так, серце. Колиб мені мука скрутніш ніж жите з иншим, то б присилував, а мені усяка мука згодніш...

— Дівчино, я без тебе жити не схочу. Як розлука, то й смерть мені! Я умру за тобою!

А сам вже й зараз помірає, й хапа рученята любенько й пригорта до серця дівчину вірну.

Боже, Боже з високого неба! чи нам усім так того коханячка треба? Що не мина, не виміча воно ні старого, ні літнього, ні молодого, ні мужнього у світі? А що вже лиха від нього, Боже світе! не перелічить ніхто, скільки потопилось, подушилось, постріляло ся, порізало ся від нього, — а посохло, повяло то більш ніж биля у полі. З першу оццать тебе наче окрилить, а там як притисне, як пригорчить, то аж не оддишеш ся...

Літечко вже минало ся — осінь ішла. Ще не повяло ніщо, а вже пахло вянею та ще пізними квітками такеньки, що аж у голові шуміло. Темні хмари проношували ся небом грім уже не гримав, лист опадав з дерева.

— Ну вже дочекала ся я до самого краю! — зговорила Рясничка синові, як він прокинув ся ранком та смутненько зітхнув. — Отсе вже осінь, — вже весілля усюди ладять ся... Вже годі!

— Що ж ви, мамо, думаете? — спитав бідний хлопець.

— А що я думаю! Нехай скажить ся той старий ворог Чабан! Щоб йому добра не вилучало ся! Бодай його з корнем вигладило!

— Що ж ви думаете, мамо?

— Що я думаю! Треба Маргу вивірити, вивідати. Ти ж сам нічогосічко не тямиш, — не знаєш досі, ге? — Сьогодні йди, перестрінь де-небудь і спитай її... Чи ж мені навчити, чи що, як залицятись до дівчини! Коваля вона не кохає, я примічала й за нею й за ним.

— А почому ви примічаєте, мамо?

— Дурна дитино! По всьому — по слову, і по поглядю, і по походу.

— Чи ж помилитись не можна ніколи?

— Ні, ні! Не дурно він надувсь як кулик на вітер, а вона — їй байдуже, вона не тура... Ти ж ходив усе у слід за нею цими днями, чи ж вона не прийма тебе, чи гордує?

— Вона якось втікає від мене.

— То й не доженеш, нещасливий! Може дівчина тільки

соромить ся, а ти вже й злякавсь! Сьогодні треба усю правду виявити. Перестріль і запитай. Чуєш?

— Чую, мамо.

— Та чи встоїш, чи спитаєш?

— Я спитаю, мамо. Хоч умру, а спитаю.

— Здоровеньки були, голосенько промовила Рясничиха уходячи того дня до Чабана у двір і усіх озираючи. Я отсе до вас позичити кресала — загубила десь своє, а сина дома нема, завівсь десь — то я вже до вас отсе...

Чабан з наймитом облажували воза. Марта перебирала зелені гурки.

— От вам кресало, сусідко, — каже Чабан і подає кресало.

— Спасибі, сусідоньку, спасибі! Господарюєш, Марто? А я ще гурків не буду сього тиждня засолювати, бо ще досі той бондар невірний дїжочок не направив мені! Двічі син в його був, двічі сама до його удавалась — п'яниця такий, що Мати божа!

Цокочучи безпеченько про бондаря в Ряснички аж в очах ясно було від цікавого піклування, що се з Мартою стало ся. Не ті очи, не те личко, не так на добрий день промовила, інакшій двигаеть ся.

— Я вже думала, поїду до куми у неділю, — цокотала Рясничка далі — у неї дїжок багато, чи не одступить. Марто, голубко, що тобі таке? батько не чує — признай ся мені, чи обидив батько, чи яке лихо? Кажи, серце, кажи, вони не чують.

Марта заняла ся, як зоря вечірня румянцем й одказала тихенько; — Ні, батько мене не обижають.

— Що ж тобі? що ж тобі? Прийди до мене, поговоримо, моє золото! Що ж тобі? Та чого ти дивиш ся туди на батька? Чого сей наймит нікчемний на нас визирив ся? Прийди до мене! Сусідоньку! — гукнула на Чабана, — я вашу дочку запрошаю до себе! Нехай мені старій поможе трошки, — вже не здужаю я, зстаріла... вмирати пора!

— Ще поживіть, ще поживіть, — промовив Чабан ніби вговорюючи. — Тепер время осіннєє, веселое: дочок здають, синів женять — додав він наче по тайности.

— Дай Боже й вам і мені дождати, сусідоньку, — про-

мовила Рясничка аж іздрігнувши ся. — Що ж, Мартусю, допоможеш мені?

— Добре, — одказала Марта.

— Спасибі, голубко біла, спасибі! А поки що я тобі поможу гірки обірати. А чи ви чули, сусідоньку, що удовиця Крижка сина в малярі віддала? — спитала Рясничка Чабана.

— Чув, — одказав Чабан.

— Кожушки наші як довідали ся, то зараз забажали собі малювання; хвалили ся: поїдьмо — хвалили ся — до того маляра, й закупимо собі якесь малювання, се гарно у хаті — оповіда Рясничка.

— А гарно мабуть, — одкаже Чабан.

— Наймитку, чи ти не здужаєш? — озвалась Рясничка до наймита.

— Я здужаю, дякувати Богу одказав наймит з глуха, не знімаючи очей з роботи.

— Якось ніби ізбляк на виду, як я от придивлюсь теперки. В мене син чогось кволить ся. Жалієть ся на голову усе. Горенько з тими дітьми у світі! А що се нашого коваля зовсім не видно? Наче за гроші показуєть ся між люди. Я вже його отсе два дні ніде не набрідю, де він никає... Сусідоньку, чи ви його бачили?

— Бачив вчора в вечері, — каже Чабан.

— Де ж ви його бачили?

— Він із гаю йшов.

— Отсе гультяй який! — Та бувайте ж здоровенькі, забарила ся я. Приходь, Марто, до мене. Одвідай, серце!

І побігла до дому Рясничка, піклуючись і готуючись, що то з Мартою за подія, по що Коваль до неї ходив, що замишля Чабан, чого се наймит так очима поїдає? А Чабан проведивши її промовив: — Ся жінка як би примогла то-б зорі з неба зірвала, або землю під собою поїдала.

Вечір осінній, темний й Марта виходить з хати, — ледве два ступні ступає — перед нею Рясниченко, весь біленький і зовсім смутненький. — Марто, — промовляє він — чи гнів на мене який маєш? А сам дивить ся у шапку.

— Ні, — одказала Марта.

Мабуть хотів додати: „чому втікаєш?“ парубок бідний, та не наслідивсь очий звернути з шапки.

— Марто, чи підеш за мене? — Почав він знов.

— Ні, — одказала знов Марта.

— І... і вже сьому не бути? Не можна ні як зарадити?

— Ні, Іване, — одказала Марта. — Не думай об мені, не займай мене, прошу тебе просьбою.

— Не буду — промовив парубок наче зварений. — Добри вечір, Марто! І пішов, сам як мала дитина заплакав.

Мати стріла ще на дорозі й питає: що? І дивить ся і з одного вже погляду бачить, що. Змінилась на лиці і очи іскрою спалнули.

— Вона за мене не хоче, мамо, промовив парубок, — годі вже її займати.

— Не хоче за тебе? Годі займати? — покрикнула Рясничка. — Кого-ж вона хоче? Кого вона обрала, гадюка? Та ще не знаємо, що Чабан сам дума. Може вона не хоче, та він жадає, то не буде вередуванню він потурати...

— Ні, вже, мамо, я її не займу більш.

— Не займеш як батько даватиме?

— Ні, мамо. Вже не кажіть про се, бо жалко дуже...

Та й дуже ж жалко йому зробилось!

— Ні, се так не буде! Ні, так се не минеться! Я довідаюсь! Я дізнаюсь! Щось тут є! Є щось! — виговорювала Рясничка сама до себе.

— Я тебе тут дожидав, — промовляв наймит над рікою стрічаючи й пригортаючи Марту. — Ти не знаєш, як я тебе дожидаю! Очи горять мої, волося наче холодний вітер зніма...

— От кого обрала собі, дівчино! покрикнула Рясничка так, що аж в берегах виляснуло. — Добре, красно! Батенько нехай втішаєть ся, нехай радуєть ся!

І Рясничка мов скажена вистрибнула з за верб, з рего- том побігла від них.

— Вона зараз батькови скаже, — промовила Марта.

— Що ж, Марто, може се в остатнє бачимось? — виговорив наймит.

— Не чуєш нічого? Може вже батько гукає на мене й випхає з двора.

— А чи ж не дасть одвіту ніхто за мою кривду!

— Максиме коханий! Я твоя вірна дівчина...

І вона згорнулась до його, й він наче перед гіркою

та нікчемною смертю пригортав до себе. Ще нічого не чуто було з хутора.

— Ходім, — каже наймит.

— Ходім — каже Марта.

Ввійшли обое у хату. Чабан сидить біля стола, наче їх дожида, спокійний як звичайно.

— Що се забарилась, дочко? — спитав.

Вони обое стояли, наче до домовини вже приручились, або друг до друга. Чабан глянув на обох.

— Господарю, промовив наймит, чи оддаєте за мене дочку свою?

— Тату, промовила Марта, — не бороніть... Я за иншим не буду, тату, тільки за ним... не бороніть, тату!

— Я не бороню, — каже Чабан, — нехай вас Бог благословить.

Що се! Що се! одхрещуетесь усі — такого батька показуєте несвітнього! Щоб багатий, розумний батько та за наймита дочку попустив іти! Се вже ви передали куті меду!

Не сваріть ся, добрі люде! Нехай хоть на сміх один наймит за чоловіка буде поміж людьми, Христа ради.

Нехай один нетяга вишукає собі сімю та долю, та спочине, та наболіле тіло й душу одходить, одратує... Полічили сього одного між праведними душами, а вже незлічимо усіх тих, що їх ходить по світу запродаючи свої сили і молодість і кріпость за хліба шматок вкраяний, не житя проживаючи, а збавляючи, клянучи гірку долю, не сподіваючись кращої.



Д. ДОРОШЕНКО.

Марія Заньковецька.

(До 25-літнього ювілею її сценічної діяльності).

30 падолиста 1907 року минуло 25 літ, як у перше виступила на сцені, яко професіональна артистка, в ролі Наталки-Полтавки, Марія Заньковецька, сей найбільший талан, який має український театр за весь час свого існування, і взагалі одна з видатніших артисток, яких бачив цивілізований світ у XIX столітті. З де-яких причин, між тим і на бажанне самої ювілятки, прилюдне пошанування 25 років її сценічної діяльності перенесено на біжучий місяць січень, і в той час, як уся свідома Україна і взагалі всі прихильники талану Заньковецької вітати-муть її в театрі Товариства Грамотности в Києві, де вона зараз грає в трупі Садовського, ми складаємо славній артистці отсі наші рядки, яко вираз найщирішого признання й привіту, скромний дар на її ювілейне свято.

25 років сценічної діяльності Заньковецької припадають на весь час існування нового українського театру. Доля її яко артистки так тісно сплелась з долею самого українського театру, і їй належить така значна частина в утворенню сього театру і в його славі, що говорячи за двадцять п'ять літ служення Заньковецької українській сцені, не можна не сказати хоч кілька слів про самий театр, про його початок, про його великий успіх, котрий він завдячує у значній мірі славній артистці, і про його ролю в нашій культурно-національнім життю, особливо на початку 80-х років.

Організованне постійного українського театру стало ся в найбільш глухий і, здавалось, безнадійний період нашого національного життя, одкритий ганебної памяти указом 1876 року, яким разом із забороною уживання українського слова в письменстві наложено забороны й на український театр. Із усіх наслідків того указу, мабуть, найменш дошкуляла тодішнє українське громадянство заборона українських театральних вистав. До 1876 року постійного українського театру не було, а тільки ставились по ріжних містах аматорські вистави; репертуар був занадто примітивний і обмежений, і про

заснування спеціальної української трупи ніхто певно й не думав. І одже саме в той час, як вороги української народності справляли тризну над нашим національним рухом, знищивши його „одним почерком пера“, творчі сили нашої нації блискуче заявили себе в новій сфері, висунувши цілий ряд визначних артистичних таланів, які склали першу українську театральну трупу, як тільки часова пільга 1881 року дала змогу організувати українські вистави. Історія зародин українського театру, його перші кроки й ті тріумфи, які судили ся йому від свого й російського громадянства докладно змальовані в мемуарах його головних діячів і творців — М. Кропивницького (За тридцять п'ять літ, „Нова Громада“, 1906. IX) і М. Садовського (Мої театральні згадки, Літ.-Наук. Вістник, кн. V, VII-VIII, X, XII) і ми тут зазначимо тільки те, що молодий український театр в скорім часі став значним культурно-національним чинником, може, навіть на-пів свідомо й для самих його діячів. Після кількох років примусового німування, українське слово з нечуваною експресією озвалось прилюдно з нової для нього катедри, доступної широким громадським кругам, — зо-спени, і театр на довго прикував до себе увагу українського громадянства. Взірцево поставлений, пишачючись великими таланами, він справляв глибоке вражінне, і не одному з помосковлених земляків посіяв в душі зерна національної свідомости, — про се маємо й документальні свідощтва де-кого з відомих наших діячів, що пробудженням інтересу до українства, розбурканнем в собі національного почуття завдячують впливу молодого українського театру 80-х років. І сей великий вплив української сцени на тодашню суспільність спостерегли зараз же адміністраційні аргуси, заборонивши українським трупам грати в межах п'яти головних українських губерній, і з того ж часу почались особливі утиски над українською драматичною літературою, які відіграли таку фатальну роль в дальшій історії українського театру¹⁾. Утиски сі стримували нормальний розвиток театру, замикали його у вузьких межах народнього репертуару, і то виключно в сфері родинних відносин, де над усім панувало коханне; примусове виставлювання російських пєс поруч з українськими важким тягарем лягало на антрепрізу; все се, в звяз-

¹⁾ Про се багато цікавих фактів подає Л. Старицька-Черняхівська в своїй статі „Двадцять п'ять років укр. театру“, див. „Україна“, 1907, кн. XI—XII.

ку з усякими іншими адміністраційними причепками деморалізувало українських артистів; первісна велика група Кропивницького-Старицького розкололась на силу дрібних труп, і сей процес дроблення йшов дуже в швидкім темпі. Не минуло й десятка років, як народилась сила „руско-малорускихъ“ труп, український театр звівся на комерційні підприємства, і рівень діячів занепав страшенно низько¹⁾. І тільки група корифеїв українського театру, таких як М. Кропивницький, М. Садовський, О. Саксаганський зуміла зберегти славні традиції перших років і донесла прапор українського театру чистим через довгі роки тяжкого лихоліття аж до наших часів розкріпощення українського, яке розкриває широкі перспективи й для оновлення нашого театру. Яскравим контрастом до нового ряду темних років життя українського театру блищить доба початку 80 рр.; назавжди зостанеться вона світлою сторінкою в його історії, і ми тепер з вдячністю згадуємо заслуги перших наших театральних діячів, котрі в найбільш важкі часи пригноблення рідного слова зуміли високо піднести ідею національного театру і розбудили своєю справою живі зацікавлення й симпатії до українства навіть далеко за межами рідного краю.

В чім же полягав такий значний вплив українського театру в перші медові роки його розцвіту? Можна сказати з певністю, що ні репертуар його, котрий здавався в перші часи новиною з своїм правдивим з етнографічного боку малюванням народнього життя, ні чудово поставлена режисура, ансамбль, дивний навіть для столичної російської сцени, — не змогли б так опанувати увагою суспільства і утворити нашому театрови таку широку популярність, як би не те дивовижне скупчення талантів, які одразу стали на чільнім місці трупи: М. Кропивницький, Г. Затиркевичка, М. Садовський, Оп. Саксаганський; і над усіма ними — сонце української сцени — Марія Заньковецька. Се щасливе поєднання свіжости й новини широ-народнього театру, в кращім розумінню сього слова, і великих могутніх талантів було найбільшою причиною, яка вабила широкі круги прихильників українського театру й утворила йому таку славу.

¹⁾ Див. інтересну статю М. Ярчєнка „Сучасний український театр“ в „Зорі“ 1893 р., чч. 11, 12, 14, 15.

Вповні зрозуміти й оцінити могутній талан Заньковецької може тільки той, хто бачив її на сцені; передати вражіння від її гри так само важко, як переказати словами музику Шопена або Бетховена. Сказати, що Заньковецька — незрівняна драматична артистка, що вона вміє з недсяжною правдою передавати на сцені глибокі пристрасти, що вона примушує глядача переживати разом з нею усі емоції, всі почуття, які хвилюють героїню драми, що її сльози й сміх однаково заражають глядача і глибоко проймають його серце, — сказати се все дуже мало. Заньковецька — творить на сцені. І бути свідком таємничого процесу, який доконується в душі артистки, коли вона інтерпретуючи ролю сама втілюється в неї і живе, в самім точнім розумінню сього слова, усіма болями й радощами персонажу пєси, бачити перед собою шматок живої людської драми, вихопленої з дійсного життя, — се робить виїмкове вражіння і зворушує надзвичайно. Доля української артистки дає Заньковецькій в руки невдячний матеріял; вона мусить оперувати над пєсами, серед яких майже нема ні одної цілком бездоганної з психологічного боку, де б усе було правдиво умотивовано, де б висока ідея проходила через усю пєсу, розкриваючись у словах і вчинках дієвих осіб. Але в виконанню Заньковецької забувають ся усі недостачі, усі дефекти пєси. Як геніяльний скульптор різьбить з мертвої глиби мармуру чудові постати, так і вона з сухого й необробленого матеріялу утворює живі істоти з плотю й кровю; її натхненна гра дає те, чого не може дати автор пєси — показати живого чоловіка в моменти найбільшого напруження, драматичної колізії і в хвилини тихого щастя або бурних веселощів. Коли ви дивитесь на артистку, як вона грає палку циганку Азу, дочку вільних південних степів, тиху безталанну Софію, горду в своїй чистоті душі Лимерівну — і десятки інших креацій Заньковецької, то вам і в голову не прийде критикувати композицію ролі, оброблення її автором; ви бачите перед собою живих людей, ви стежите за виявленням найбільшої пристрасти, яка може ворушити серце жінки, — коли вона любить, і їй зраджують, коли вона вірить і її обдурюють й поневіряють ся над нею. Ви бачите дійсні сльози на очах, чуєте не актьорський голос, а живий крик болю й одчаю, і ви, німучи, переживаєте хвилини глибокого душевного зворушення. Як справедливо завважив А. Суворін,

дивлячись на гру Заньковецької, — „се вище над змалюванне, вище над те вражінне, яке підказує оплески й вигуки „браво“. Ви не будете апльодувати, коли перед вами беть ся людина в страшних муках“. Описуючи гру Заньковецької в „Наймичці“, він каже: „се була сама страшна правда, і глядачі переживали її з слізми в горлі і з палким співчутем до безталанної. Се був той одчай, ті муки, коли жінка забуває про все, про свої пози, свої рухи, про своє волоссе, коли вона памятає тільки своє стражданне, памятає, що житте її скінчилось і загублене на віки“. ¹⁾

Заньковецька утворила цілий ряд постатей, з яких кожна оброблена до найменших деталей, кожна виявляє свої оригінальні питомі риси, а всі разом дають глибоко правдивий і поетичний образ душі української жінки, з усіми прикметами її духовного обличча. Се — апотеоз тієї гіркої жіночої долі, яка оспівується в народніх піснях, недолі, що має свої корені у вікових тяжких умовах життя українського народу. Українка або Українець, дивлячись на Заньковецьку — наймичку Харитину, Софію, Олену, Катрю („Не судилось“) і т. д. серцем почувають свою духову спорідненість з тими страдальчими образами. І сі артистичні креації Заньковецької стоять в нашій уяві поруч з посталями шевченковських героїнь — Катерини, Наймички, Марьяни. Широкий талан нашої артистки виявляєть ся і в утворенню типів комічних; ролі Вусті (За двома зайцями), Ївги (Чорноморці), Пріськи (По ревізії) належать до таких же коронних ролей в репертуарі Заньковецької, як і типи драматичні. Гра Заньковецької — високий зразок і школа для всіх українських драматичних артисток, на котрій вони виховують ся і котру здебільшого наслідують.

Заньковецька — талан глибоко національний. Національність для неї — та сама мітична стіхія, що додавала Антееви сили, коли він доторкав ся матери — землі. І коли Заньковецьку запрошувано перейти на російську сцену, вірний інстинкт підказував їй одмовитись від того, бо на чужій сцені, на чужім ґрунті вона була б просто талановитою, видатною артисткою, яка могла б бездоганно грати найтрудніші ролі світового репертуара, але не була б тим генієм,

¹⁾ Хохлы и хохлушки. СПб. 1907. Ст. 17.

яким вона виявляє себе в ролях з українського життя. Але разом із тим Заньковецька — талан. всесвітньої сили, гра її зрозуміла людині кожної національності, як зрозумілі нам муки й сльози чоловіка, коли він і чужої нації, і балака чужою мовою. Тому то зрозуміли Заньковецьку і з ентузіазмом привітали чужі критики; холодна петербурська публіка, яка бачила всесвітні талани, захоплювалась Заньковецькою, і речником її виступив А. Суворін. Він рівняв її з Елеонорою Дузе і ставив вище від Сари Бернар, — найвища похвала, яку могла висловити нашій артистці російська театральна критика устами одного з визначних своїх представників.

Як би ми хотіли уяснити собі генезіс, розвиток талану Заньковецької, довідатись про впливи, які зложились на те, щоб зробити її українською артисткою, то ми знайдемо мало документальних оголошених друком джерел. Але те, що відомо, свідчить, що ми маємо діло з геніяльним таланом, що одразу розвернув ся в усій своїй красі, скоро лише почув себе у своїй сфері, і ознаки котрого були ясні на артистці ще в її дитячі роки. Талан її не виробляв ся від довгої практики, артистка не „вигравалась“, вона тільки поширювала свій репертуар і обробляла нові деталі в своїх старих ролях. Але се саме старанне оброблення, продуманість і умотивованість кожної риси, кожного руху, де нема нічого зайвого, що розбивало б гармонію, свідчить, що артистка клала і кладе багато праці над собою. А ми знаємо ще й те, що обмірковуючи свої народні ролі, вона підчас свого побуту в рідній стороні обсервує народне життя, народні типи, звичаї, говірку, не згірш од фахового етнографа. Се обмірковане, заздальгідь зважене трактування ролей знаменитою артисткою видно хоч би з того, що її костюми в різних ролях з фотографічною точністю вірні народнім зразкам, і тільки вправне око етнографа може вловити характерні відміни тих костюмів артистки в залежности від того, в якій місцевості відбуваєть ся дія песи: чи на лівім березі, чи на Поділї, чи в Галичині.

Інтересні подробиці про нахил Заньковецької до сцени, про виявлення драматичного темпераменту ще на шкільній лаві дає нам стаття С. Петлюри в XI — XII кн. „України“. Там оповідаєть ся, що Заньковецька, будши ученицею дівочого пансіону в Чернигові, брала участь у спектаклі, поставленім силами самих учениць; вона грала ролю Феї і мала

великий успіх. Чеастньо складала вона й сама малі пески і відогравала їх вкупі з товаришками. Се була, як оповідала нам одна з її колишніх подруг, дуже нервова, вражлива дівчина, велика аматорка співу, музики, танців, взагалі — тонка артистична натура, яка здавалась усім на перший погляд неурівноваженою, ексцентричною. Вже тоді кидалось на очи умінне її надзвичайно тонко володіти своїм голосом, захоплювати присутніх своїми співами і танцями. Учитель музики Прушинський находив в ній талан балерини, тоді як його жінка — талан співачки.¹⁾ 14 літньою дівчиною вона, як оповідає д. Петлюра, з таким запалом, з таким почуттем читала на лекції словесности „урок“ — монольоґ з Антіґони, що вчитель, український поет, М. Вербицький, був глибоко здивований і сказав своїй учениці: „просіть батька, щоб він оддав Вас до театральної школи“. Але батьки до театральної школи її не оддали і взагалі були противні тому, щоб їх донька зробилась актрисою. На сцену вона вступила вже тоді, як стала цілком самостійною людиною. Але при нагоді брала участь в аматорських виставах, і всі радили їй вступити на сцену, пророкуючи славу будучність.

Чому Заньковецька (як відомо, вона походить з дворянської родини Адасовських, що мала свій маєток в Ніженському повіті на Чернигівщині), дворянська дитина, вихована в панському пансіоні, вступила на молоду українську сцену, що тільки що ставила свої перші кроки, де їй доводилось грати ролі самих „мужичок“?.. Чи се був випадок особистого характеру, чи свідомий вчинок? В здогади не будемо пускати ся. Але те, що вона на zenіті своєї слави не перейшла на російську сцену, зріклась почестей, матеріальних вигод і всеєвропейської слави, показує краще від усяких інших її вчинків, що вона свідомо розуміла свої обовязки, як української артистки. На умовляння вступити на російську сцену, навіть імператорську, вона відповіла, що Україна занадто бідна, щоб її можна було кинути... вона занадто любить її, свою Україну, її театр, щоб могла згодитись на улесливі пропозиції.

Натура, окрім великого, геніяльного талану, обдарувала Заньковецьку ще й усім тим, що так потрібне для сцени: дзвінкий, альтовий, металічний голос, чистий і свіжий у співі,

¹⁾ С. Петлюра. До ювілея М. К. Заньковецької „Україна“, XI—XII, ст. 55.

рухливі, виразні риси обличчя, гарного й правильного; струнка, граціозна постать; се все збільшує ефект від її появи на сцені, де вона чарує глядача і своєю грою, і самим голосом, співом і танцями.

Як ми сказали вище, Заньковецька у перше виступила як професіональна артистка 30 пад. 1882 р. в трупі М. Кропивницького. З нею вона побувала в головніших містах України й Росії, і нарешті в Петербурзі, де вона поділяла кольосальний успіх трупи, виступаючи як перша її сила й окраса. В 1888 році Заньковецька перейшла до трупи М. Садовського, де грала рівно 10 років аж до розпаду цієї трупи в 1898 році. Вона перебувала після того в трупах Сулова, Квітки, Кропивницького, Волика. В 1905 — 1906 рр. вона разом із М. Садовським їздила до Галичини, де грала в трупі Руської Бесіди, побувавши крім Львова в головніших містах австрійської України, а з кінцем 1906 р. вступила до обновленої молодими силами трупи М. Садовського, найкращої і найбільш інтелігентної з усіх сучасних українських труп. Її вічно-юний талан сяє по прежнему як чистий алмаз і чарує серця глядачів з такою ж силою, як і 25 років тому назад.

Репертуар Заньковецької — українські драми Старицького, Кропивницького, Мирного, Карпенка-Карого, Яновської. Найчастіше виступає артистка в отсих песах, де є „коронні“ її ролі: „Не судилось“, „Чорноморці“, „Глитай“, „Доки сонце зійде, роса очі виїсть“, „Лимерівна“, „Безталанна“, „Наймичка“, „Бондарівна“, „Лісова квітка“ та ин. Останніми часами, коли трупа Садовського почала помалу переходити до світового репертуару, Заньковецька виступає і в нових ролях („Євреї“ Чірікова — Лія, „Надія“ Геєрманса — Іо).

Імя Заньковецької належить до найбільш популярних і улюблених українських імен. Де б вона не виступала, її зустрічають і проводять безконечні овації. Українська преса й критика величають її „ясною зорею“ нашого театру, його „світлим сонцем“. І в сїм нема прибільшення. Заслуги її перед рідною штукою і взагалі перед нашим культурно-національним рухом останніх десятиліть вповні оправдують сю голосну назву. Свято її ювілею — наше національне свято, на котрім ціле наше свідоме громадянство шанує найбільшу силу і дорогоцінну окрасу рідної сцени.

М. ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Море.

Я прийшов до тебе, море,
Необмежений просторе,
Таємнице з таємниць,
І клонюсь, впадаю ниць!

Я прийшов сюди з дарами.
Ті дари збирав годами
Скрізь і всюди, де бував,
Де сміяв ся й сумував.

Я приніс тобі їх, сине,
І на хвилі, на камінне
На підводяне твоє
Кину я добро своє.

Се — чуття мої, що вмерли,
Обернувшись в ясні перли, —
В пісню першу мою.
Я тобі їх оддаю.

Се — жалі, що серце ссали.
З їх зробили ся корали
Нерухомі, мовчазні —
Буть в морській їм глибині.

Се — ті радощі мінливі,
Ті усмішки жартовливі,
Що горять, мов іскри, мить,
Любо в морі їх топить.

Ось дарк мої, безграє!
Все несу тобі, що маю,
А замісто сих дарів
Я бажав би, я б хотів,

Щоб мене ти освіжило,
Надихнуло в душу сили,

Щоб під твій бурхливий шум
Геть розвіяв ся мій сум.

І вернусь тоді я, море,
На життя криваве тєє,
Вивши грудьми любий дар,
Ніби сокіл із під хмар.

На південь до моря я линув душею,
І вільна стихія ввижалась мені,
Вявлялось — літають чайки понад нею,
З-за обрію хмари зринають ясні.

Тепер я побачив. О, скільки простору,
І сяєва, й блиску се море таїть!
Як вільно на ньому і серцю, і зору!
Як груди тріпочуть, як хочеть ся жить!..

Коли пароход наш віза своє чорне
Залізнеє рало, мов велетень - плуг,
У хвилю зелену і геть її горне,
У смугу тремтячу, неначе утюг,

І слід прокладає, — здаєть ся: нічого,
Нічого на світі широкім нема,
Що встояло-б против напору людського,
Чого він не зрушить, чого не злама.

Нічого!.. І серце напружено бєть ся,
І хочєть ся праці, важкої борні...
А хвиля зелена шумить і смієть ся,
Скидаючи з себе брилянти дрібні.

Вал за валом йде у море,
Вал за валом бризка піну,
Ляже й встане ту-ж хвилину,
І смієть ся, і говоре:

„Попливімо гєть відсюди
У простори безбережні

На ті рівняви безмежні,
Де вода сама повсюди!

Геть від мертвого каміння!
Геть від берега сумного!
Попливімо геть від його
Ген туди, де даліч синя!..“

Йдуть вали, шумлять і грають.
Сяють їх перлові гриви,
І пісні вали бурхливі
Морю вільному співають.

У жовтий берег беть ся хвиля
Рожево-бірюзова.
Одна розбилась, слід за нею
І друга вже готова.

Ідуть і грають вільні хвилі,
Мов діти яснозорі,
Встають із моря і счезають
Безслідно знов у морі.

Встають і грають вільні хвилі,
Так само, як і люде:
Одні счезають, прийдуть другі...
І так до віку буде.

Хвиля грає і співає,
І виблискує, мов скло.
Скеля слухає й питає:
„Що ти, море, принесло?“

— „Принесло я добрі вісти:
Грали дітоньки мої,
Мили кучері перлисті
Там, далеко од землі,

І юнака молодого
На легенькому човні
Перестріли... Й не самого —
В двох він плив у тумані.

Віз він кралю чорнооку —
Із гарема вигадав.
І украв було, нівроку,
Та не вдержав, — їм оддав.

Тільки як же він змагав ся,
Як пручав ся!.. Та дарма:
Той, хто хвилям раз попав ся,
Не втече, — шляху нема!

Як не беть ся, як не споре,
Не злетить од хвиль, мов птах!..“
І смієть ся сине море
Піна грає на вустах.

Під темним небом сиве море
Сьогодні тихе і хмурне.
Якесь бліде — неначе хворе...
Мов хоче спати й не засне.

І мляво плеще сонна хвиля,
Байдужно, знехотя шумить...
Немов дере бабуся піря:
Рука дере, а думка спить.

Дощ припинив ся, а вітер ще віє,
Хвилі проваде все в ход.
В млистім просторі ген-ген ледви мріє
З диму стовпом пароход.

Не розгадаєш, — чи в море він плине,
Чи підпливає сюди.
Зором пильную: чи з-віч моїх згине,
Чи все ростиме з води.

Хвилі ж на захід ідуть без упину,
 Білі встають буруни.
 Встануть, пограють єдину хвилину
 І пропадають вони.

І пропадають, щоб в друге піднятись,
 Гривою знову пограють...
 Нам же один раз на світ народжатись
 І що — хвилини вмирать...

На збуренім морі важкими вадами
 Здіймають ся хвилі і грізно ревуть.
 Ревуть, і регочуть, і грають гребнями,
 І в слід парохода зневажно плюють.

А він, бідолашний, од їх утікає,
 Тікає, сердешний... Тремтить на нім снасть.
 І він то в один бік, то в другий влягає,
 І став би то рівно, так хвиля не дасть.

Стою на кормі я — весь вітром пронятий,
 Забризканий морем, запльований їм,
 Увесь мов розбитий, увесь мов зімнятий —
 І чую образу у серці своїм:

Я так поривав ся із степу до моря,
 Я ніс йому співи і серце своє,
 Я ждав, що розваже воно мое горе,
 Воно ж замість того — на мене плює!..

Лежу над морем, немов розбитий,
 Розбитий ввесь.
 І чую голос гука сердитий
 На хвилі десь:

„Чого сумуєш? Які дурниці
 Тебе смутять?
 Шпурни їх в море, або йди звідсіль, —
 Чого лежать!..

О море, рад би втопить у хвилі
 Я всі жалі,
 Так океани, мій друже, цілі
 Для їх малі!

Помергли хвилі. Одягає
 Їх ніч туманом прозірним,
 А море все ще не стихає
 Грудьми повними зітхає,
 І я стою один над ним.

І знов у степ вернувся на горе,
 І над Дніпром сумую я,
 І рвусь до тебе, сине море,
 Стихіє любая моя!

В останнє, море, оглядаю
 Безмежну просторів твою,
 В останнє гомін твій вчуваю,
 Останні ритми вже ловлю.

Мов тягнеш ти мене до себе,
 Мов кличеш в свій принадний край...
 І я прийшов на час до тебе,
 І вже кажу тобі: прощай!

Прощай, безкрає! За тобою
 Я так в степу колись тужив
 І душу мрією ясною —
 Тебе побачити — живив.

Прощай!.. Але я знов прибуду,
 Прилину скоро!.. І в степах
 Я пам'ятать про тебе буду:
 Бо все стоятиме в очах —

Я сподівав ся на твоєму
 Ясному березі почать
 Нову життя свою поєму...
 Але прийшло ся кочувать

Ясний твій простір, сині хвилі,
 Вітрила білі, і димів
 Стрічки, розтягнені на милі,
 І скелі жовтих берегів,

По пісках півночі убогих,
 Її болотах і лісах,
 І сумувати по розлогих
 На сонці спечених степах.

Де я журился в самотині,
 Де я душею оживав
 І де пісні свої складав
 Тобі на честь, о море сине!..



Сучасні досліді над СВЯТИМ ПИСЬМОМ.

Між працями, що ведуть ся систематично новочасною наукою, дуже визначне місце займають критичні досліді над Святим письмом у загалі, а особливо над книгами Нового завіта. Ті книги, які ми привикли називати Біблією (з грецького Βιβλία — Книга в загалі) здобули собі від мало не двох тисяч літ величезне значінє, особливо від тоді, від коли покладені основою християнства і разом з його запанованем у римській імперії зробили ся міродайними не лише для пануючої церкви, але також для загалу народів і суспільностей у трьох частях світа, вникнули своїм духом і світоглядом глибоко в серця незлічених мільонів людей і творять ще й досі одну з основ людської цивілізації.

Супроти сего факту буде зрозуміле бажанє всякого чоловіка, дізнати ся дещо ближше про походженє і авторство тих книг, про їх долю протягом многих століть і про те, що люди ріжних віків робили і зробили для їх витолкуваня на ріжні мови і для їх як найкращого зрозуміня. Таке зрозумінє тим потрібнійше, що ті святі для нас книги повставали ступнево і були впливом духа і змагань певних історично означених поколінь, у деяких також відомих нам часах та історичних обставинах, і хоча найбільша і найважнійша їх частина говорить мовою простою і зрозумілою кождому чоловікови, хоч би й найпростійшому, то все таки їх загальний характер, їх літературна композиція, їх вияснюванє в ріжних віках і ріжних напрямках виявляє таку надзвичайно цікаву картину, якої не виявляє може жаден инший твір людського духа.

Праця над поясненем, коментованем і витолкуванем святих книг нового завіта почала ся, можна сказати, разом із самим початком апостольських місій та їх проповіді. Проби толкованя старозавітніх книг бачимо вже в наших евангеліях, чуємо з уст самого Ісуса, стрічаємо в найстарших апостольських діянях. Під імпульсом апостольської проповіді повстає вже в перших віках церкви оживлена літературна діяльність, яка майже від разу появляєть ся у всіх головних центрах тодішнього цивілізованого світа — в Александрії, Афінах, Ефесі,

Коринті та в Римі, в північній Африці та південній Франції. Високий стан просвіти, на яким стояли тодішні інтелігентні а навіть декуди й прості люди, сильно причиняв ся до розповсюдження християнства і викликав подив з боку найученійших людей того часу для тої живучої сили, що плила від християнської науки, якої вони, мудрці, звичайно не могли, або може лише не пробували зрозуміти. Повстають у важнійших центрах, особливо в Александрії, Римі та в деяких містах північної Африки формальні школи, де християнські книги студіюють ся з широким науковим і філософічним апаратом не згірше Гомерових епопей та афинських і римських клясиків, і численні сліди тої першої критичної праці дійшли й до наших часів. Не говорячи вже про те, що ті книги, списані переважно грецькою мовою, вже вчасно були перекладані не лише на латинську, але й на різні інші мови, на єгипетську, сирійську, вірменську, готську і т. д., їх значіне зросло безмірно від часу запановання християнства в римській імперії в початках IV століття нашої ери і здобуло собі великий авторитет, якого не могли мати ніякі інші книги старинного світа.

Се високе значіне християнських святих книг, до яких ще перед новозавітніми були інтегрально долучені і старозавітні, що творили основу найдавніших Канонів (про їх повстанє та розвій буде у нас мова далі), довело по кількох століттях загарливої праці та широкої дискусії до остаточного сформованя їх тексту й комплексу і до признаня їх святости як творів „богодухновених“, вітхнених самим Богом, а значить тим самим, висших по над усяку людську критику. От тим то й зрозуміємо, що санкція соборів західної і східної церкви (в західній церкві при кінці IV віку декретом папи Гелазія 495—6 р., а в східній церкві дещо пізнійше) тим самим покклала кінець усякій критиці тексту й композиції святих книг. У середніх віках вони зробили ся зовсім недоступними для читаня світським людям і церков ревниво оберегала їх як свою власність, яку лише сама вона має право використовувати, поясняти і уділяти частинками, в міру потреби народнім масам.

Аж на склоні середніх віків новоповсталий гуманізм з його відновленем традицій греко-римської старовини, зробив святі книги християнської віри з иньшими старинними творами більше доступними завдяки друкарським станкам. Правда,

досить довго ще, майже до кінця XV в. друквано тільки усвячені церквою латинські та грецькі тексти, але елементарна історична сила, що перла народи західної Європи тисячними способами і шляхами до обнови і перебудови середньовікових порядків, звалила також, певно не без завзятого опору церкви, ті завади, які ставлено розповсюдженню біблійних книг. „Біблія на рідній мові!“ се стаєть ся головним боевим окликом усіх чільних народів Європи, і вже в XVI віці виходить перед виступом Лютера звиш 30 перекладів усеї Біблії в самій Німеччині. З тих перекладів до недавна майже нічого не було відомо тай у загалі значна їх часть заховала ся лише в унікатах або в відривках, або їх память збережена в старих друкарських та книгарських рахунках, — така сильна була, як видно, боротьба з боку католицької церковної організації.

Реформація розпочата в Німеччині виступом Лютера на початку другої чверти XVI в. (Лютер зрештою мав дуже впливових попередників, таких як Англічанин Вікліф і Чех Ян Гус) зразу повалила всі перешкоди (ставляні доси ширеню святого письма. Вона бухнула мов велика пожежа не лише по Німеччині, але й по всіх її сусідніх краях, по Франції, Англії, Польщі, Литві, не минаючи й нашої України, і скрізь під її подихом бачимо зусилля чи то одиниць, чи більших корпорацій — дати народнім масам повну Біблію виложену по змозі чистою народньою мовою. Тому змаганю завдячує також наше письменство такі неоцінені пам'ятки, як Біблія Скорини 1519 р., як рукописні, доховані до нашого часу популярні переклади євангелій (Пересопницьке, Дмитра з Зінькова і інші) та недокінчений друк Тяпинського. Більше консервативне становище в тім біблійнім русі XVI в. заняв кн. Константин Острожський, що видав вправді повну Біблію (1580—81 р.), але мертвою церковно-словянською мовою.

Що торкаєть ся до критичної праці над текстами святих книг християнської віри, то дещо цінне, хоч не дуже сміло робили вже гуманісти. Випускаючи в світ свої видання вони старали ся обставити текст кожної св. книги як найбогатшим критичним апаратом, черпаним чи то з цитатів старих отців церкви, чи з порівняння найстарших відомих їм рукописів тих книг. Особливо багато праці вложив тут дуже вчений муж Еразм Роттердамський, якого видання довго мали велику славу в Європі.

Але великі заворушення і політичні бурі викликані реформацією (згадаймо лише жорстоку 30-літню війну в Німеччині та Варфоломееву ніч у Франції) на довго підкосили розвій усякої наукової праці, так що аж коло половини XVIII в. треба класти початки спеціальних студій над текстами і композицією Біблії, а особливо новозавітніх книг. Не входячи в деталі я зазначу лише деякі цікавіші події в тім півтора-ста-літнім розвою, що попередив наші часи.

Десять коло р. 1770 одержав визначний німецький поет і критик Готтольд Ефраїм Лессінг від одного знайомого Гамбуржця декілька уривків із більшого твору і зацікавився ними до тої міри, що бувши в осени 1771 р. в Берліні показав рукопис своїм приятелям Мендельсону та Ніколаї (відомому тоді накладцеві) і заходився одержати цензурне одобрення на друковане рукопису. Приятелі не радили Лессінгу друкувати сих уривків, а з цензури прийшла відомість, що вона не думає спиняти друку книжки, але свого одобрення на неї не дасть. Тоді Лессінг задумав видавати маленьке періодичне видання пз. „Beiträge zur Geschichte und Litteratur aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel“, випросивши собі у князя для сих причинків повну безцензурність, яку князь у своїй резолюції на його просьбу мотивував тим, що „він певний у тому, що проситель нічого не дасть до друку, що могло б образити релігію і добрі обичаї“. Справді перші випуски тих вольфенбіттельських причинків, видані в роках 1772 і 1773, не містили нічого небезпечного. Аж у третім випуску, опублікованім 1774 р. після звістки про Адама Наузера, де говорилося про факти страшного переслідування сего унітарія, Лессінг надрукував перший уривок свого гамбурського знайомого пз. „Von Duldung der Deisten, Fragment eines Ungenannten“, рекомендуючи статтю (вона займала 22 сторінки) як уривок незвичайно цікавого твору, що належить до найновіших придбань князівської бібліотеки. Четвертий „Причинок“, виданий аж 1777 р. був уже досить грубою книжкою і містив на стор. 261—494 працю пз. „Mehreres aus den Papieren des Ungenannten, die Offenbarung betreffend“, до яких Лессінг додав 49 сторінок своїх уваг, в оглаві книжки названих „Gegensätze des Herausgebers“. Це „Mehreres“ обіймало п'ять розділів, а власне: Про окричуване розуму з казальниць; про неможливість обяви, якій би всі

люди однаково могли вірити; про перехід Євреїв через Червоне море; про те, що книги старого завіта не були написані задля того, щоб об'явити якусь релігію; про історію воскресення Христового.

Перший уривок пройшов ще без вражіння, але сі дальші викликали в цілій Німеччині страшенний галас і стали початком завзятої боротьби протестантських ортодоксів, з ославленим пастором Геце в першій ряді, не стільки против самого безіменного автора, скільки про смілого його видавця. Лессінг дав доказ великого геройства і сили характеру, достойно і талановито видержавши сю боротьбу, яка з його боку, не вважаючи на різні викрути, що ними старався заслонити свого знайомого, автора „уривків“, дала німецькій літературі незрівнани і неосягнені ще й до нині взірці полемічної прози, острої як бритва, влучної і вбійчої як шпада в руці першорядного майстра фехтунку.

Свою боротьбу він розпочав нападом, опублікувавши зараз же на початку 1778 р. окремою книжечкою ще один уривок невідомого, „Про мету Ісуса і його учеників“, у яким автор силкується довести, що Ісус і його ученики мали метою політичний переворот у Єрусалимі. Не треба й говорити, який крик та лемент розбудила та публікація в Німеччині. Князь вольфенбїттельський зараз у липні 1778 року відібрав Лессінговим „Причинкам“ безцензурність не тільки для видавання дальших причинків, але також для всяких його дальших писань, та Лессінг запротестував проти сеї заборони, хоча й мусів уступити з Вольфенбїттеля. Характерна річ, що в тих часах цензурного тиску опубліковані ним „Уривки не названого“ розходилися нечувано швидко, в р. 1784, зараз по Лессінговій смерті передруковано їх у Берліні, а 1835 р. вийшли вони ще четвертим виданем. Автором їх виявився ще при кінці XVIII в. Герман Самуїл Реймарус, Гамбуржець, уроджений 1694 р., ректор і професор східних язиків у Гамбурзі від р. 1728, чоловік незвичайно вчений і поважаний, ученик першорядних тодішніх учених Вольфа і Фабріція, що вмер у марті 1768 р. Лессінг не знав його особисто, хоча ще рік перед його смертю був у Гамбурзі і познайомився з його сином і дочкою Елізою, що правдоподібно уділила йому відривки з рукопису свого батька і була вірна його

приятелька аж до його смерті і по тім, лишивши ся до своєї смерті старою панною¹⁾).

Чим же були, що містили в собі Реймарусові уривки, що могли викликати таку бучу в цілій Німеччині в її „най-просвітнійшу“ пору? Були, сказати по просту, першою пробою „чистого розуму“ німецького вченого (значно перед Кантом, бо деякі части сеї книги ходили по руках учених ще в 40-их роках XVIII в.), прослідити характер, мету і композицію святих книг старого і нового завіта, з виразним наміром, добити ся повної толеранції не лише для „дійств“, тобто людей, що вірують тільки в Бога, а відкидають усю велику надбудову над ідеєю чистої релігії, в безпосередні відносини людської душі до Бога, але загалом для самої свободної думки і свободної критики. В тім велике культурне значіне сеї першої проби раціоналістичного трактованя святих книг, але в тім же й основна хиба Реймарусової книги і причина того, що вона в пізнійшім часі вже не зацікавила нікого до тої міри, щоб опублікував її в цілости, так як 1770 р. зацікавила була Лессінга, що він з нараженням своєї свободи і посади опублікував із неї деякі виривки²⁾. Хиба була в тім, що Реймарус оперував Біблією як суцільним, одностайним і свідомо, по одному пляну написаним твором, одним словом як документом для аргументації, а не як продуктом довжезного історичного розвою, який уперед треба вповні зрозуміти й оцінити бодай в головних деталях, поки можна важити ся щось судити і комбінувати на основі тих деталей. Раціоналістична критика Реймаруса дала й його Апології повний доказ авторового розуму, але заразом ще

1) Реймарусова книга, що в рукописі захована досі в гамбурській міській бібліотеці і займає два здорові томи дрібного але виразного письма (972+1072 стор.) пз. *Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes*, не була досі опублікована. Знавці, що переглядали той рукопис, висловили погляд, що Лессінг мав у руках відривки із значно старшої редакції твору Реймаруса, так що деяких уступів опублікованих Лессінгом у остатній редакції зовсім нема. Уривки зі статтями Лессінга можна прочитати в гемпелівім виданю творів Лессінга, dokonанім 1873 том 15. Див. про се *Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche* herausg. von B. Albert Hauck, т. VI, стор. 136 — 141, статя Карла Берто, та прегарну монографію тоді ще віденського, а тепер берлінського професора Еріха Шмідта зп. *Lessing*, т. II.

2) Цікаво зазначити, що Лессінг до самої смерті не покидав думки опублікувати всю книгу, але сему рішучо спротивила ся дочка Реймаруса Еліза, найбільша приятелька Лессінга.

повнійший доказ цілковитої нездібности того „чистого розуму“ до розуміння складних суспільно-політичних, а особливо релігійних явищ.

Друга проба в тім же роді була зроблена Давидом Фрідріхом Штраусом, учеником бляубаернської духовної семінарії, що зразу хотів зробити ся членом духовного стану, а потім перейшов на поле теологічної науки і габілізував ся в Тібінгені на катедру теології при тамошнім університеті (урд. д. 27 січня 1808 — столітній ювілей його уредин сего року святковано недавно статями в німецьких часописах). Як здобуток своїх теологічних студій, у яких видно повне опановане всеї дотичної літератури, видав молодий, 27-літній доцент 1835 р. свою першу і найдозрілшу працю „Житє Ісуса“, в якій підійшов до своєї теми з досить оригінального боку. Признавши три перші євангелія (Матвія, Марка і Луки) одинокими жерелами з історичним характером (Іваново євангеліє мало наскрізь теологічну тенденцію), він попробував прослідити всі факти з Ісусового життя, подані в тих євангеліях. І тут він наткнув ся на непоборні труднощі. Значна часть фактів у поодиноких євангеліях оповідаєть ся відмінно, декуди явно суперечно, без якої будь хронології, нераз без докладно означеного місця; в тракті оповідання видно скоки і неконсеквенції, яких годі вияснити собі, так що властиво ані одного факту з життя Ісусового крім факту його мученицької смерти ми не знаємо точно і в звязку з його дійсним житєм. Щоб самі євангелисти пофальшували до тої міри основу фактичного життя великого Вчителя, сего Штраус не хотів допустити; вони писали наївно і в найліпшій вірі, черпаючи з усної традиції, яка вчасно, ще за життя Ісусового ослонила його постать цілою сіттю мітичних уяв, чи то запозичених із житій інших старих героїв, таких як Мойсея, Самсона і т. и., чи то свіжих, утворених мимовільно людьми, що може й самі були свідками подій, але передавали чутки про них у збільшеній, чудами прикрашеній формі. Отсе мітична теорія, що мала заповнити люки євангельських текстів, зведених його бистрою аналізою просто *ad non sunt*. Се характерні прикмети Штраусового „Життя Ісусового“. Його заслугою було, що вказав дійсні і майже непоборні труднощі там, де доси панувала в уяві теологів повнісінька гармонія чотирьох євангелистів (в дусі нашої народньої приказки: „Чо-

тири орли одно яйце знесли“) і заставив учених ближше придивляти ся до тексту евангелій та докладнійше слідити повстане та філіяцію тих текстів. Та були в його конструкції також великі хиби, які докладно вияснили ся аж з пізнішим поступом наукових дослідів. Одною з найважніших хиб було нерозумінє синоптичного характеру трьох перших евангелій. Штраус уявляв собі кожде з тих евангелій як окреме документальне свідцтво, зачерпнене з якогось одного жерела, з одної традиції, зложено по певній системі і з певною тенденцією, і для того вважав себе в повнім праві протиставити одно свідцтво другому і бачити в них суперечности і неточности. А тим часом евангельські тексти мають зовсім инший характер, як се буде вияснено далі, і до такого контрадикторного поступування зовсім не надають ся.

Другою хибкою Штраусової конструкції була власне його мітична теорія, яка в разі кождої більшої трудности замість заострення його уваги давала йому дуже легкий і дешево досягнений вихід. Певна річ, дещо тут, прим. про запозики старших, фолькльорних мотивів для конструкції життя Ісуса як „месії“ вказав зовсім вірно і пізніша наука поставила сю теорію тзв. традиціонізму значно ширше, та все таки Штраус прикладав її занадто успішно навіть у таких місцях, де синоптичне трактованє текстів відразу усуває всі трудности. Закидувано йому надто, що не зробив навіть проби зложити з провірених даних позитивний образ життя Ісусового, але він доказував, що се при теперішнім стані наших позитивних відомостей зовсім не можливо. Його твердженє має й доси свою силу.

Не треба й говорити багато про те, що Штраусова книга зробила величезне вражінє і стягла на її автора офіціальні переслідування. Зараз по її появі його усунено з катедри і перенесено на адміністраційну посаду до Людвігсбурга при її професорській раді. Заразом консісторія відмовила йому раз на все кваліфікації до духовного стану. Швидко Штраус, гонений загальним обуренєм своїх найблизших і незадоволенєм власного батька покинув свою посаду в Людвігсбурзі, переніс ся до Штрасбурга і заняв ся дальшою літературною працею та працею над новими виданнями, яких протягом трьох літ вийшло чотири. Вольна Швайцарія покликала його на цюріхський університет за для теологічних викладів, але заходом Єзуїтів удало ся підбунтувати селян і міщан і зняти формальну револьту проти Штрауса, при якій повалено правитель-

ство цюріхського кантону, що законтрактувало його до викладів. Штраус одначе виправував у кантону на підставі того контракту пенсію 1000 швайцарських франків, яку й плачено йому аж до смерти, та яку, як додає його біограф, „він тихцем повертав на гуманітарні цілі в самім Цюріху“. Він умер 1874 р.¹⁾

І ще про одну пробу годить ся нам сказати в отьому вступному огляді, про Ернеста Ренана. Сим разом проба-проломати лід байдужности, шкаралоючу тіснодумства була зроблена у Франції. Зроблена католиком, який зразу призначений для духовного стану і поздававши всі екзамени, перед самим висвяченням жажнув ся чогось і відступив від духовної рясї, в тім сильнім переконаню, як каже один його біограф, „що може бути вірний Ісусови лише тоді, коли виречеть ся його церкви“. Сим парубком був Ернест Ренан, з роду бретонських моряків. Він уродив ся в бретонськїм містечку Трегіє д. 27 лютого 1823 р., а маючи 5 літ від роду стратив свого батька, що ще перед смертю стратив увесь свій маєток на моряцтві. Вихованем сина заняла ся мати і особливо старша о 11 літ сестра Анрієта, що до смерти була його правдивою опікункою. Виростаючи в архикатолицькій атмосфері він проняв ся також католицьким духом і навіть зрікши ся духовної рясї не зривав звязків з ріжними католицькими колегіями. В 1838 р. він переселив ся до Парижа, де вже перед тим жила його сестра. Ним заняв ся єпископ Дюпанлу, його прийнято до духовної колегії, де він почав знайомити ся з середньовіковою філософією й теологією. Тут пізнав також декого з новійших філософів і вперве прочув та продумав їх закиди против правовірної догматики. Ренан кинув ся до вивчення єврейської та німецької мови, щоб міг читати св. письмо в оригіналі і слїдити за новою німецькою теологією. Німецька наука зробила на нього велике вражінє і певне була одною з тих причин, що пхнули його відступити від духовного стану. Доконавши сего в р. 1845 він опинив ся в Парижі майже без удержаня, нехотячи рушати предложених йому сестрою, ошаджених нею зі службових доходів 1200 фр. Він перебивав ся приватними лекціями в дрібних єзуїтських колегіях і працював рівночасно з запалом над своєю дальшою осьвітою. В маї 1848 р. викінчив дисертацію про студії грецької мови в середніх віках і за те дістав місце „асистента філософії“. Не покидав при

¹⁾ Н а у с к. Realencyklopädie, Bd. XIX. стр. 76—92.

тім студій єврейської, арабської, сирійської та санскритської мови і до того спеціалізував ся на семітських язиках, що по смерті свого вчителя Катрмера (Quatremère) подав ся на його катедру в Collège de France; його приняла колегія, але затверджено її ухвалу аж 11 січня 1862 р.

В р. 1860 він зі своєю сестрою поїхав до Палестини на студії. Тут і вмерла вона 1861 р. в Библосі від пропасниці, і тут „у салаші мароніта на Ливані“ Ренан написав першу частину головного свого твору „Початків християнства“, свою ославлену Vie de Jésus, видану вперше по французьки в Берліні літом 1863. Ся книжка зробила його відразу європейською знаменитістю і викликала скрізь таке вражінє, якого не знала ще жадна теологічна праця в жадній літературі. Папа Пій IX назвав Ренана „клеветником Європи“; посипали ся рефутації з усіх таборів католицьких і протестантських і робили мимоволі книжці рекляму, якої вона по своїй річевій стійности зовсім не була варта.

Ренанове „Жите Ісуса“ мало бути простим противенством Штраусового: там сама неґація, самі сумніви, тут сі сумніви збуто зовсім сумарично в елегантній передмові, а в книжці саме „позитивне“, саме оповідане перетикане чудовими описами палестинської природи, історичних та культурних образків. Замість мітів, яких уживав і надуживав Штраус тут легенда, чиста і прозора, повна місцевого кольориту, а на її тлі ясно рисуєть ся постать Ісуса. Ся постать зложена не по правилам історичної науки, а з самих естетичних мотивів. Ренан знав синоптичні євангелія, знав наукові закиди против євангелія Іванового, а про те в передмові мов капризний хлопчик заявляє: а все таки я найліпше люблю Івана і беру його за основу своєї праці. Його чарувала ясна простота пляну четвертої євангелії: рівно три роки діла Ісусового. З подібної причини він немилосерно нагинає і перекручує тексти синоптиків для своєї ціли і малюючи Ісуса як чоловіка, у якого була „la qualité sentielle d'une personne distinguée“, тоб то мало що не як париського панича-арістократа, рівночасно приписує йому ріжні дуже сумнівні прикмети, як честолюбство, пиху, змислову любов і прості ошуканства, малює його особою без моральних основ, а тільки з естетичним смаком. Одним словом, твір Ренана — не історична біографія, а поетичний роман. По стрічі з Іваном Хре-

стителем Ісус із веселого фантаста робить ся релігійним революціонером, бере на себе ролю Мессії, пророка і візійнера, робить сильні уступки забобонности своїх дуреньковатих учеників і остаточно гине в боротьбі з правовірним жидівством. З хвилиною, коли Ренан починає у Ісуса зазначувати сю зміну, кінчить ся й симпатія читача до його героя.

Для самого Ренана мало видане його „Життя Ісусового“ досить прикрі наслідки. В р. 1862 зараз по першій прелекції з університетської катедри його суспендовано, а 1864 Наполеон III зовсім усунув його з посади. Він не прийняв пропозиції йому дуже визначної посади при Національній бібліотеці і усунув ся на якийсь час зовсім у домашній куток. По війні 1871 республіканський уряд покликав його знов на професуру, а 1879 вибрано його членом французької Академії. Вмер 7 жовтня 1892 р.¹⁾

Отсі три епізоди з історії студій над новозавітними святими книгами характеризують три головні фази їх дотеперішнього розвою: плитку, чисто раціоналістичну критику та самовільні догади в початку, різку та також не глибоко умотивану неґацію оперту на досить механічній аналізі, і невдалі проби скомпонованя чогось позитивного з тих матеріялів, що були просіяні крізь критичне решето. Таких проб у половині XIX в. майже аж до остатньої десятки літ було дуже багато і в Німеччині, і у Франції. В Німеччині визначила ся такими пробами особливо тзв. тюбінґенська теологічна школа, заснована проф. Христіаном Бауром, що написав кілько-томову історію християнської церкви і оброблював також в окремих монографіях різні питання новозавітної історії й літератури. До сеї школи належав і Гаусрат, автор просторої „Neutestamentliche Zeitgeschichte“, твору дуже подібного до Ренанової „Origines del christianisme“, якої перша часть дає також досить бліде „Життя Ісуса“, в якому варта уваги хиба постать Ирода Великого, друга занята ап. Павлом, а третя розвоєм церкви від початків до кінця II віку. Певну славу в 70-их роках здобули собі також „Життя Ісуса“ проф. Кайма та невеличка книжка Швайцарця Фольмара *Jesus Nazarenus*, Zürich 1882. Тепер і ті твори перестаріли.

(Далі буде).

¹⁾ H a u c k, Realencyklopädie, т. XVI, стор. 649—655.

НАТАЛЯ РОМАНОВИЧ.

ЛІЛІЯ.

Вона вмерала. Вже кілька день лежала нерухома, бліда, і з кожною годиною зменшувались її сили.

Коло її кімнатки в коритарі метушились люди — лікар, сестри милосердя та де хто з пансіонерів сеї санаторії для слабогрудих; вони тихенько снували повз дверей, прислухуючись, напружено чекаючи якого небудь звука з тої німої хати.

Не насмілювались увійти до вмираючої, бояли ся потурбувати її, боялись зустріти її повний туги й захололого одчаю погляд, побачити її тоненьку нерухому постать, що якось безнадійно витягнулась на ліжку. Часами лікар, забігав до неї; сидів 5—10 хвилин; виходив задуманий, стурбований; біг до салі, не відповідаючи на питання, якими закидали його всі, що цікавили ся хорошою, і ходив там з кутка в куток, повторюючи!

— Elle mort! Elle mort!

Вона, ся дівчина з Росії повинна була одужати. Так постановив він ще тоді, коли перед двома роками весела, з ясними очима і червоними щоками, без одного легкого вона бадьоро й легко піднімалась по сходах санаторії. Він памятає радісний усміх її і повний запалу покрик, коли вона побачила з вікна призначеної для неї хати далекі гори і мальовничі рівнини. Він не зрозумів, що вона сказала на чужій мові (російську мову знав, але якоюсь іншою, невідомою мовою говорила вона; потім дізнав ся, що то мова була *des petites russes*), але зрозумів її: вона молода, енергічна, жизнерадісна своєю неволю в санаторії зустрічає весело, з надією зовсім одужати. І він присягнув собі, що вона буде здорова і знов вернеть ся до життя, яке покинула в Росії.

Лікар, як і вся санаторія, мало знав про неї; знав лише те, що з шіснадцяти років по тюрмах тинялась вона — там і сухоти придбала. Про себе не любила оповідати, але коли розмова велась про Росію, про ту боротьбу, що так інтензивно провадилась там останніми часами, очи їй запалювались полумем, голос дзвенів і слова котились безперервним гарячим

потоком. І не марно: вона привчила санаторію цікавитись тими страшними, величезними подіями, що відбувались в Росії, довела далеких від всякої політики Швайцарців і хорих, що цілковито поринули в собі, слідячи за своїм здоров'ям, до того, що вони не могли дня перебути, щоб не перечитати у всіх газетях, які тільки одержувались, про Росію і ще потім розпитували її, що вона з російських газет вичитала. Але лікар забороняв їй часто виголошувати свої політичні промови — се втомляло її і зле впливало на її здоров'я. Зпочатку обурювалась, сперечалась з ним, а потім скорилася переконана, що так треба... треба для того, щоб вона швидче могла повернутись до того життя, про яке з таким запалом оповідала перед своєю аудиторією. І терпеливо слухала лікаря, зносила весь режим лікування, аби лиш зовсім одужати.

Що дня вона читала газети, ходила на прогульки, писала листи, читала книжки... Два рази на рік їй робилось зле; тоді тримали її цілими тижнями в ліжку. Тепер, сеї зими начеб трохи одужала — одне легке вдалось загоїти — і збиралась літом покинути санаторію, сю восьму тюрму, як жартуючи її називала, коли застудилась і мусіла лягти на цілий місяць. Їй дуже зле було; тоді через силу написала кілька слів комусь в Росію і чекала, що хтось приїде. Довго лежала й чекала — не приїздив ніхто — тільки лист одержався з звісткою, що той, кого вона чекала, не може приїхати, бо сидить в тюрмі. Цілими днями лежала вона сумна й слаба і лікар не відходив від неї; потім нагло енергія повернулася до неї, ожила й одужала, і останній тиждень справді дуже гарно виглядала. Коли встала, жите так і кипіло в ній, метушилась, говорила багато про останні події в Росії, про Думу, газети читала всім, промови в Думі. Лікар любувався нею, радів за неї.

І ось несподівано знов ослабла; коли він увійшов, покликаний до неї позавчора, то злякався: немов смерть — бліда, непорушна була на ліжку, а в хаті стояли спаксовані куфри; на столі купка паперу, записаного її рукою на невідомій їй мові *des petites ruses*, з плямою засохлої крові на ній. Що вона хотіла? Що задумала? Їхати? Божевільна... зачекала б ще трохи, може була б зовсім здорова. А то слаба, тільки оживлена енергією, обхоплена бажанням життя, поспішила, і ся напружена метушня звалила її — мабуть на все...

І ходячи з кутка в куток лікар повтаряв в розпуді :

Et maintenant elle mort, elle mort! І він довго, довго ходив по салі, не відвідуючи хорої, бо коли він був у неї в останній раз вона, як здавалось йому, спала : лежала з заплющеними очима, і злегка хвилювались її груди.

— И давно она спить?

Лікар здригнув ся від несподіванки і підвів голову : молодий чоловік, високий, чорнявий, з серйозно сумним виразом блискучих очей, які вдивлялись в нього запитуючо, стояв в двох кроках від нього, в руках тримав обережно білу лілію. Збуджений від своїх думок, в які він так глибоко поринув лікар тепер змішав ся і не міг одразу зрозуміти, хто се і чого від нього вимагають. Вдивляючись в молодого чоловіка, що виборно вбраний, чисто виголений і елегантний стояв, не зводячи з нього свого сумного погляду, лікар механічно повторив його питання : давно она спить? і слова чужої мови, які він сам вимовив, повернули його до дійсности.

— Да, да — хутко почав він, не зовсім добре вимовляючи слова чужої мови, — она давно спит, часа 2, я думаю... Я заходив кь ней послѣ завтрака, она ничего не ѣла; молчала, смотрѣла вь стѣну передь собой, потомъ закрыла глаза... слаба она очень. Вы...

— Я Петръ Линицкій, ея другъ; она мнѣ писала ранше, но я не могъ приѣхать тогда... Мнѣ сказали внизу, тамъ, гдѣ вещи оставилъ, что кь ней нельзя, что она спить. А я хотѣлъ бы... можно кь ней?

— Можно, якось безнадійно махнув рукою лікар, але Петро не бачив сього руху і хутко вийшов до коритаря; там не було вже ні душі; шукав кімнату Насті; він памятав, що вона писала йому, що її „камера“ в санаторії під № 6.

Коли знайшов, зачукав тихо до дверей.

— Можна увійти? — ледви стримуючи свій неспокій, що оволодів ним ще під час подорожи і все збільшував ся, запитав він тремтячим голосом.

Тихо.

— Можна? і відхилив двері, просовуючи туди голову.

Тихо.

Очевидно спить.

Він увійшов і став коло порога. Лілію все держав обережно перед себе. Щось утримувало його зробити крок далі, навіть порушитись з місця. „Най спить“... Розглядав хату.

„Висока, біла, чиста і багато повітря — гарно для неї“ думав про себе.

Коло вікон стояв стіл з книжками й паперами, порозкиданими в безладі, у всій же хаті була чистота й порядок. Мармуровий вмивальник, білі занавіски, чисті, ясного коліру меблі, білий полог, крізь який невиразно було видно ліжко. Очі Петра знов упали на ліжко і на ній зупинились.

— Настю, спите? несамохіть вилетіло з уст його. — Не чуєте?

Тихо.

— Настю, ти спиш, ти не чуєш мене? тривожним звуком розлягло ся в кімнаті і два кроки зовсім непомітно приблизили його до ліжка.

Тихо.

— Настусю! Петро вже відкинув занавіску коло ліжка — ти спиш?

Схилив ся. Біла лліля затремтіла і впала на ліжко.

— Ні! Бачу... Не спиш ти... Очі твої так виразно дивлять ся на мене... Ти мене бачиш, правда? Ти ж дивиш ся на мене.

Дві важкі сльози тихо скотились по блідих щоках і впади на вмерлу.

Очі її були широко розкриті і наче вдивлялись в сі другі, що схилились над нею; ще теплі руки простягнуті були вздовж тіла. Спокійне обличче звернене було до стелі.

Так, моя кохана... ми ніколи не мали часу для себе, для свого життя, не мали права на своє щасте. Ти так казала. Тепер може маємо час... Тепер можу тебе цілувати, цілувати, моя кохана! Тепер ти тільки моя...

Клякнувши коло ліжка, він несамовито обнімав і цілував мертве тіло.

— Тепер, тепер я тебе зацілую...

Бистрі поцілунки розлягались серед мертвої тиши, і звуки їх — ніжні й легкі — губились самітні, не знаходячи відповіді... назавжди зникали без сліду.

Петро підвів голову і уважно подивився ще раз в великі блакитні очі, наче шукаючи в них сліду останньої думки. „Що думала перед лицем смерти? Чим занята була останній час перед тим, як лягла в ліжку?“ Він окинув зором хату, жадаючи знайти що-небудь, щоби вказувало на самоцуттє її останніми днями. „На столі так багато паперів... може що писала“. І кинувся до столу, схопив купку паперів, що посередині лежала. „Дорогий Товаришу... так, се до мене!“

Присівши на килимі коло ліжка, впився очима в рясні рядки дрібненьких, не зовсім рівно розкиданих букв.

„Дорогий Товаришу! Я вчора послала вам телеграму, щоб не приїздили. Тепер же хочу докладно пояснити Вам, чому се. Та до того хочеться вам багато написати; давно вже я се зробила.

Знаєте, тоді як я до вас писала, прохала вас приїхати, не знаючи, що ви в тюрмі, мені було дуже зле, так, як ще ніколи тут не було. Я застудилась і надзвичайно ослабла — не знати було, чи виживу. І тоді мені так забажалося кого-небудь з близьких побачити. Могла б попрохати мати, та боялася турбувати її: вона наплакалась би тут коло мене — тяжко було б їй. З братів би кого хотіла побачити, але я знала, що обидва в тюрмі. Зостались ви, Товаришу, і мені здавалось, що ви приїхали б, знайшли б вільний час — хоча коротенький, тільки й ви не на волі були, як я вже пізніше пізнала. А останній час чекала вас, так чекала; тепер же прохаю — не їдьте, не треба. Я вже одужала.

Не смійтеся: справді одужала!

Розуміть ся, я не така здорова, як на шістнадцятім році, коли мене у-перше посадили в кам'яний мішок, з якого опівночі вивели „на допрос“ перед очі цілого ареопагу, що поважно сидів коло столу, вкритого зеленим сукном. І не так здорова, як була до тої осінньої ночі, коли мене везли під дощем 20 верст до мійської тюрми. І все-ж таки я одужала. Я почуваю в собі таку життєву силу, таку енергію, таку бадьорість... І тіни немає тої Насті, яка не що-давно лежала на ліжку безсила й слаба.

Не треба, щоб ви приїздили ще й тому, що я їду... Так, я постановила зовсім покинути санаторію, і я їду. До товаришів, до того життя, без якого так нудькую. Не знаю, чи зрозумієте ви, чому я власне тепер хочу їхати. Бачите, се

й для мене несподіванка. Мене мали випустити з санаторії в літку — мені передавали, що лікар казав так (знаєте, лікар такий симпатичний, так чудово відносить ся до мене), і я доси покійно чекала того щасливого дня, коли виїду на свободу, як покійно і терпливо перебула сі 2 роки в санаторії... Які роки!

До речі: не легко ж се було мені, Товаришу! Мене, яка звикла од ранку до ночі кипіти в окропі життя, цілком віддаючись своїй роботі, одірвали од нього, завезли в се спокійне місце, де мушу, підлягаючи режиму майже не все святкувати. Пильнувати свого здоровля, бути спокійною, виконувати всі приписи, зосереджувати всі думки на своїй особі, застерегаючись доста почитати, щоб не пошкодити собі — таким життям я повинна була жити і терпливо чекати: коли кінець йому. Від тої хвилі, як я вступила тут в свою хату, мене не покидає бажання й віра: мене тут вилічать, я одужаю... І тому покійно чекала. Та ще тоді, як привезли мене сюди — слабу, з кашлем, що розривав мені груди, без одного легкого і з нецілим другим — я перший час дійсно спочивала після останньої тюрми. Але що ліпше почувала себе, то більше хотілось повернутись до життя, особливо останній рік, коли таке дивне, величезне й захоплююче робилось в Росії. Мітінги, забастовки, масовий рух до чогось нового, прекрасного й свобідного... а тут ліки, турботи про здоровле, термометри. Іноді, я іронізувала з себе; се я, переконана пролетарка, проживаю в санаторії 100 рублів в місяць, що мати присилає і здалека стежу за тією боротьбою, що так напружено провадить ся тепер, читаючи газети між сніданком і обідом. Але вгамовувала себе: терпливости, терпливости...

І ось на початку весни вже значно поліпшило ся здоровле мое, і я вся поринула в мрії про будучину, про те житте, до якого мала повернутись небавом. Успіх робітничого руху, перші виступи наших товаришів в Думі, вплив сього на маси — звістки про се так гарно впливали на мене і надавали мені енергії. Але нагло я захорувала; така дурниця — застудилась і пролежала в ліжку цілий місяць. Справді, дуже зле було мені, але я боролась уперто з хворобою і перемогла її. Тепер же я така здорова, повна сил і енергії. І тяжко вже мені тут... хочеть ся розгорнути всі свої сили, ужити, використувати їх, замість того, щоб марно гинули тут. Вся та

робота, якій я віддавалась, як ще здорова була, видаєть ся тепер мені такою маленькою: ті спілки грамоти, реферати, конспіративне друкованне відозв... Тепер широкий шлях, тепер маса заговорила, тепер лунає голос народного депутата, газети наші друкують ся отверто — яка багата і плодюча, величезна і важна перед нами робота! Я їду, їду!

Не знаю, що лікар скаже... мабуть не дозволить. Та то все одно...

Довго обмірковувала: яка здорова, а в сім я майже переконана — то час вже повернутись до справжнього життя; як я ще хора, — то, очевидно, й зовсім не можу як слід одужати і тоді, для чого ж чекати смерти тут? Краще ту решту життя віддати своїй дорогій праці, най там я помру — серед свисту куль і нагаїв, під звуки гордих пісень рідного народу. Най там — як не витримає тіло моє — перерветь ся моє життє... лиш не тут конати. Та для чого про смерть? Я повна сил, я відчуваю їх, що клеочуть в мені, і не занашу їх в сій тихій щилині. Памятаєте, товаришу, в Надзона:

Воздуху, простору, пламенныхъ рѣчей,

Чтобы жить для жизни, а не для могилы,

Всѣмъ бiеньемъ сердца, всѣмъ огнемъ страстей.

Сі вірші я деклямувала з надзвичайним запалом перед 7 роками, коли ще була в останній класі гімназії; памятаю, я й товаришка поїхали човном і десь на зеленім острові я сими віршами висловила свій потяг до життя правдивого, повного, до боротьби енергійної і завзятої за все прекрасне й справедливе. Тоді ще багато де чого не розуміла; тепер же, коли я дуже добре знаю за що і як боротись, чого домагати ся, вся істота моя переповнена бажанням жити для життя, а не для могили, і як та 15-ти літня Настя я рву ся до того життя всею душею.

Але ви все-таки не розумієте, чому я не можу ще посидіти 2—3 місяці, коли я витримала тут при всім тим 2 роки.

Се вже просто випадково. Читаю газети що-дня, і ось вчора прочитала, що одна політична Д. задушилась своєю кошою в тюрмі. І дивно: розстріли, шибениці, нагаї, катування — все се про що читаєш що-дня, бо сим наповнені всі газети, знаєш все се, бо сим наповнено зараз життє нашої вітчизни — не збентежили мене так, як сі сухі й короткі стрічки. Звикла вже я до всього сього „безумія і ужаса“, як що можна до

нього звикнути; але се... Чи є що більш жахне й глибоко трагічне, як вбийство себе, знищення себе?

Чи є стан більш тяжкий і страшний, як той, коли нема куди йти і лишається одна смерть... Смерть... А життя таке глибоке й прекрасне само в собі!

Знаєте: коли я читала про се, я сиділа в наших саді коло санаторії, який ожив, відродив ся, повний сонця і пахощів весни.

І ся смерть... Вона, ся жінка, що сама перервала своє життя, була повна сил і радості життя... і всеж таки відібрала собі його. О! яке ж мусить бути тепер життя! Тоді я й відчула, що неможу довше тут сидіти, що поїду... І я зібралась; поспішно поклала річі і сіла вам писати.

Тепер як вже рішила їхати, я думаю про силу всіляких річей: як мати зрадіє, коли побачить мене здоровою, і ви, Товаришу, також, правда? Хочеть ся швидче побачити всіх, і мою маленьку кімнатку і ту лілію, що під вікном моім цвіла; я її так любила, ту білу лілію. Я писала щоб ви привезли її мені; правда, в тім листі, я багато зайвого написала. Даруйте мені, Товаришу, того листа — тоді, коли писала його, дуже слаба і знервована я була і не могла взяти себе в руки... Ах, як я мрію тепер, про свою будущу роботу, як я рву ся до неї. Вже швидко, швидко... Як давно ми не бачились, правда? І я дуже хочу вас побачити! Будемо знов укупі працювати!

Знаєте, хоч я зараз під дуже тяжким вражінням самоубийства Д., проте я захоплююсь мріями й думками про будущину! І як ранійш так палко вірю в краще життя, яке колись настане і до якого ми прокладаємо шлях величезним числом жертв упертої боротьби. І час, давно вже час спинити сю річку крови, що так широко розливається. Товаришу, руку! Як швидко побачимось“.

Петро перегорнув останню сторінку: засохлий кривавий струмочок перерізував її вздовж. „Значить, зараз по листі лягла і більше не встала“, якимось механічно промайнуло в його голові.

Поклав лист до кишені і підвів ся.

— Ти хотіла мене бачити? Стиснути руку мені? Ось я! І ти жалуєш за тими ніжними щирими словами, що написала мені, як дуже слаба була! А я дякую тобі за них. Ніколи не

чув їх від тебе, хоч знав, що любиш мене, бо ти сувора була до себе, до свого особистого життя. Аж тепер написала — і я дякую тобі.

— Ти так рвала ся до життя... „Чтобы жить для жизни, а не для могилы“... А для чого ти жила? „Для жизни, а не для могилы“... і ти вмерла... вмерла... А я і лілію тобі привіз; яка ніжна, як пахне, — і Петро підніс квітку до губ мертвої; струмок крові, ще не зовсім засохлої офарбував край пелюстка.

— Знаєш, — тихо-тихо вимовив Петро, вкладаючи квітку мертвій на груди, знаєш, чому ти лілію сю так любила? — Ти сама лілія — ніжна, суворо-чиста, ідеально прекрасна...

— Чи ти знаєш, як багато зробила ти для нашого спільного діла? Як свято шануєть ся імя твоє серед товаришів і того люду, для якого робила ти і за який житте своє віддала?

Чи ти знаєш, як я люблю тебе!

І припав до мертвої, тихими поцілунками вкриваючи сукню, руки, щоки.

Осяєне сонцем, яке кидало останні промінні на ліжко, блищало золотом волоссе; тіло наче ожило, щоки світились, і тільки блакитні спокійні очі з непорушним виразом, та біла лілія з кривавим пелюстком утворювали загадкову дізгармонію.



О. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ.

Нові гадки про походження людини.

Питання про походження людського роду завжди цікавило спеціалістів і публіку, проте воно на довгий час за браком фактичного матеріалу було залишене і антропология займалась вивченням різних другорядних та треторядних питань.

Між тим в науці було зроблено кілька нових відкриттів, які знову привернули до цього питання увагу вчених і дали надію докладніше та глибше зрозуміти його. Через те стало потрібним переглянути попередні погляди, зробити оцінку новим винайденям та сполучити їх у ціле.

До такого роду праць належить стаття д. Kollmann-а: *Neue Gedanken über das alte Problem von der Abstammung des Menschen*, уміщена в *Corresp. Blatt d. D. G. Antrop., Ethnol. und Urgeschichte XXXVI Jahg. № 2/3*.

В статі сій д. Кольман, зводячи до купи здобутки останніх часів, разом з тим висловлює свою гіпотезу про пігмеїв, як перехідну форму до сучасної людини.

Після переконуючих праць С. Vogt'a, Huxley'a, Darwin'a, Haeckel'я, Schaaffhausen'a та инш. в питанні про походження людини, як ми свезали, настав більш як на чверть століття певний спокій.

До цього не мало причинив ся R. Virchow, який радив більш займатися різними питаннями, що легше дають ся до розв'язання; дякуючи тому антропологиями було зібрано величезний матеріал з камінних, бронзових, залізних речей, кераміки, черепів, цілих кістяків і т. и. і все се було описано і складено до музеїв. А ґрунтовне питання тим часом лишало ся нерозв'язаним. Такі об'єкти, що сюди стосують ся, трапляють ся дуже нечасто, найбільш у вигляді незначних фрагментів, і треба дуже гострої думки, аби на підставі їх зробити більш менш певні висновки. Через се в оцінюванню вже знайдених фактів між вченими панує непримиренна різниця поглядів. Особливо се треба сказати що до так званого неандертальського черепа, який спочатку вважав ся безперечним доказом існування особливої перехідної раси, аж поки Р. Вірхов не переконав майже усіх, що особливі предмети його спричинені патологічним процесом, і через се він не має особливого значіння.

Погляд Вірхова панував більш як чверть століття, аж поки Klatsch та Schwalbe не вернули черепу сьому приналежного місця.

Значний крок в питанню про походжене людини було зроблено, коли лікар Dubois коло Trinil на острові Яві, в матеріалі вульварнічного походження, знайшов кістки мавпи (власне було знайдено: покришку черепа, кість стегна та зуб), яку було названо Pithecanthropus egectus і було встановлено, що жила вона в кінці третичного періода, власне в пліоценову епоху. — Далі Schwalbe встановив генетичний звязок між нею та неандертальською расою. За расові ж прикмети неандертальської раси вважають: довжину черепа, низький лоб та надбрівні дуги, що випинають ся далеко наперед. Мавпа з Trinil, що безперечно належить до антропоїдних, виявляє у своїм далеко меншим черепі велику схожість з неандертальським.

Через те то Schwalbe та деякі інші вчені вважають, що вона є missing link — посередній член між людиною та мавпами. Одначе точніші досліди показали, що череп мавпи з Trinil стоїть по своїм розвою далеко низше від найнижшого представника людської раси — неандертальця.

Так показчик покришки черепа сїєї мавпи 34,2, що відповідає index'у у шімпанзе, тоді як у неандертальського черепа він 40 — 44.0, а у сучасної людини що найменш 52; теж і лоб у неї далеко більше подаєть ся назад, як у неандертальця.

Взагалі мавпа з Trinil по відносинам форм виявляє багато схожости з сучасними мавпами, хоч форма черепа її і не ідентична з формою ніякого сучасного антропоїдного.

Перед всіма антропоїдними видаєть ся вона кількістю мозку — 850 к. ц., про те навіть для неандертальського черепа треба признати її 1230 к. ц., для сучасного Європейця 1480 — 1550. Значить і в розвитку мозку між Неандертальцем та мавпою з Trinil істнує дуже велика різниця, не на користь останньої. Цікаво далі, що нижня (третя) лобна закрутка — центр мови у мавпи з Trinil, хоч і розвинена вдвічі більше, як у антропоїдних, проте досягає лише половини розвою людської. Зросту вона мала 170 см, і ходила на задніх ногах, як людина, хоч могла жити та лазити і по деревах.

Значний розвій черепа та мозку, проста хода, високий зріст — усе се дає вченим підвалину вважати її за посереднього члена між антропоїдними та людиною.

Далі поступ у питанню про походження людини знову спинився, і Schwalbe належить заслуга, що відновив цікавість до нього. Сей вчений вважає, що нащадки мавпи з Trinil, розвиваючись усе далі, дали початок людині, найнижшим представником якої є особливо неандертальська раса — homo primigenius, що з нього згодом витворила ся висша раса — homo sapiens.

Окрім сеї мавпи, як відомо трапились ще ранійше інші знаходки, які складають з себе важний матеріал до розв'язання питання про походження людини, се власне два черепи з Spy в Бельгії; один з їх має всі ознаки неандертальського, другий належав до індивідуума вже більш розвиненого. Окрім того проф. загребського університету Kramberg-ом в Крапині (північна Кроація) теж було знайдено цікаві кістяки. Частину їх безперечно можна віднести до раси схожої з неандертальською.

Сі знаходки назавжди розв'язали питання про неандертальський череп і довели, що він не має у собі нічого патологічного, коли такі самі черепи розсіяні на великім обшарі скрізь по Європі: в Німеччині, Бельгії, Кроації і переконали про існування особливого неандертальського типу.

Коли розкопи в Крапині було проваджено далі, то виявило ся, що тут власне трапляють ся дві різні раси: одна з широкими та високими черепами, друга з довгими та плескуватими, що характеризують неандертальський тип, хоч треба зауважити, що і вони все таки не мають тої грубої форми, як останній.

Окрім того по інших місцях Європи: в Egisheim-i, Tilbury, Denise були знайдені черепи та фрагменти їх, що хоч не схож з неандертальським, та проте в зв'язку з знахідками розкопів в Крапині набирають певного значіння.

З усіх сих фактів виникає важний висновок, що вже в ділювіальний період по Європі, а може і по інших місцях, рід людський поділяв ся на кілька галузок і що в усякім разі в сей період поруч жили люде з високими та плескуватими черепами.

Такі факти. Але на підставі їх та ще інших міркувань головне питання про походження людини і часткові питання, що належать сюди, розв'язують ся різними авторами зовсім не однаково.

Попереду питання про те, чи має вся людськість єдиний корінь, дістає ріжну відповідь.

Проти єдности походження приводять той факт, що деякі народи Африки мають таке звіряче обличчя, настільки висунуте наперед

підборіддя і такий низький стан культури, що для їх неначе б то не можна прийняти того самого коріння, як і задля висших рас.

Але проти сього погляду говорять факти про брак різниці в будові мозку диких та культурних людей, тоб то відрізняють ся тільки продукти діяльності мозку, а не самий апарат.

З другого боку треба було дуже щасливого складу обставин, аби утворилась хоч одна форма, що мала в собі зародок розвою до людини, і нема ніяких шансів, аби той самий щасливий склад обставин трапив ся у друге.

Друге питання про те, через які етапи, або форми мусіла перейти людина у філогенетичнім розвою, викликає теж велику незгоду між вченими.

Так Klaatsch веде людину просто од ссавців еоценового періода минаючи антропоїдних мави. Про те сьому суперечать данні ембріології, особливо після праць Selenka, та досвіди з змішуванням крові антропоїдних та людини.

Суть останніх у тім, що при змішуванню сироватки крові з кровю близьких ґатунків перша не виявляє гемолітичних властивостей, тоб то в ній не розпускаєть ся гемоґлобін — червона матерія — червоних кульок (ерітроцитів), тоді як при змішуванню сироватки з кровю далекого ґатунка вона розпускаєть ся і виходить з кульок в сироватку.

І от виявляєть ся з праць Nuttal-я, Friedenthal-я т. и., що тільки сироватка антропоїдних (шимпанзе, оранґ, гібон) не гемолітична до крові людини. Се найяскравіший і найпевніший доказ безпосереднього, близького споріднення антропоїдних та людини, тоб то ми мусимо признати, що в філогенетичнім розвою людина мусіла пройти через стадію антропоїдного.

Далі виникає питання, а чи можна вважати яку небудь сучасну антропоїдну мавпу пращуром людини? Автор рішуче заперечує сьому, кажучи, що сучасні антропоїди є тільки незначним паростом колишнього великого кода антропоїдних, що вже досяг меж своєї змінливости і нездатний до дальшого розвою, а навіть може пішов назад у своїм розвою рівняючи до своїх пращурів.

Коли не можна ніяку з сучасних мави вважати пращуром людини, то чи була ним мавпа з Trinil, Pithecanthropus erectus?

Schwalbe думав, що нащадки її, розвиваючись усе далі, втворили з себе ту людську расу, найвидатнішим представником якої є Неандерталець і відносить її до фамілії гомінідів. Неандерталець — homo primigenius був скрайнім продуктом розвою цієї

мавпи і специфічно відрізняв ся від решти людскости — раси *homo sapiens*.

Д. Кольман же передовсім не визнає такого відокремлення і вважає неандертальську расу тільки боковою нерухомою галузю загально людської раси. Хоч сьому наче б то суперечить факт, що черепи з *Spru* та *Kgarina* мають змякшені риси неандертальського — тоб то їх можна вважати за продукти поступового ступеня розвою неандертальського. Але на думку д. Кольмана певнійше вважати, що високі черепи ділювіального періода були нормою, а неандертальський плескуватий повстав з їх і був скрайнім випадковим наслідком натурального добору.

На думку автора *pithecanthropus* не міг бути перехідною формою. Він був тільки незначним послідком мавп третичного періода о. Яви, нездатним до дальшого розвою, хоч би вже через свій великий зріст — 170 *ctm.*; він не міг навіть забезпечити собі дальшого існування і знайшов свій неславний кінець в третичнім періоді.

Людськість задля свого розвою потребувала иншої більш гнучкої форми, що здатна була підлягати околишнім впливам. Розуміється, що процес сей підлягав звичайним законам еволюції і йшов від простіших форм до складніших та висших.

Не згожуючись ні з якою попередньою гіпотезою про походження людини, д. Кольман пропонує свою власну.

Він кілька років назад знайшов, що в Швейцарії в неолітичнім періоді опріч великої раси людей жили пігмеї. Пізнійше було доведено росповсюдження їх по усім світі, і тоді вже не стало можливо вважати їх за рарітет — за *lusus naturae*, треба було знайти серйозні причини такого явища. Далі виявилось, що пігмеї не вимерли ще й досі. Так *sir Harry R. Johnston* в книзі своїй: *The Uganda protectorate*, каже що такі людці живуть і в наші часи по незалюднених лісах Конго. Вони обличчям зовсім скидають ся на мавп; воно має брудно жовтий колір; очі їм глибоко позападали, надбрівні дуги далеко вишинають ся наперед, верхня губа довша, як у муринів, прогнатизм дуже значний; до того мають вони густу бороду і тіло, вкрите рудоватою вовною. (Малюнок сей якраз відповідає нашому уявленню про те, якою повинна б бути перехідна форма).

Опріч того антропометричні досліди людських рас доводять, що усі люде, що до зросту, поділяють ся на три типи: зрост одних коло 170 *ctm.*, других — коло 160 *ctm.*, третіх — коло 140 *ctm.* —

отсе то і пігмеї. Се факт надзвичайної ваги, бо паралельно до зросту хитається обем черепа та кількість мозку і через те треба визнати, що з початку повинна була витворитись раса низька на зріст, як менш інтелігентна.

На підставі сих фактів можна утворити таку схему розвою од антропоїдного до людини. По тропічних лісах Індії або Африки жило маленьке антропоїдне, заввишки у 1 метр, з пропорціональним тілом, простою людською ходою. З його повстали нащадки з більш розвиненим черепом та мозком, вже більш схожі на людей. У той спосіб поступаючи, що до своєї фізичної та духової організації, через кілька генерацій витворили вони з себе пігмеїв, що інтелектом своїм переважали усіх антропоїдних.

Жадоба до мандрівок та недостача їжі примусили сїх пігмеїв розселити ся по усім світі, і таким способом повстали білі, чорні, жовті пігмеї. Нарешті частина їх розвинулась у велику расу, а решта же таки не вимерла, а жила поруч з великою.

Для антропоїдного, що з його повстали пігмеї автор дає назву *proanthropus*.

Нарешті автор дає відповідь на закиди, які можна зробити супроти його гіпотези.

Попереду, каже він неможливо пояснити, як то роблять, росповсюжене пігмеїв по цілім світі присутністю по різних країнах однакових умовин для витворення їх, бо країни сї дуже відрізняють ся своїм географічним положенням, кліматом то що за для того, щоб можна було навіть припустити подібну думку. І коли пігмеї утворились від якогось сполучення висше згаданих обставин, то через що ми не бачимо такого ж процесу тепер? сучасні дуже малі на зріст люде повстають тільки в наслідок патологічних процесів (*Krümmerzwerge*, як каже автор) і ніколи, як окрема раса.

Далі д. Кольман повстає проти погляду *Schwalbe*, який думає, що пігмеїв не можна вважати за первітню расу вже через те, що вони мають високі гарно сформовані черепа, тоді як первітна раса повинна мати плескуваті, як у мавпи з *Trinil* та неандертальця.

Перш над усе, каже автор, мавпи з *Trinil* та Неандерталець не стоять одно з одним у генетичнім звязку, не стоять у прямім ряді форм розвою від мавпи до людини, вони тільки нерухомі, бокові галузки, що випадково витворились на головнім стовбурі, не були здатні до дальшого розвою і нарешті вимерли. Значить, зовсім не можна по формі їх черепа робити висновків про те, яка повинна бути форма його у первітньої раси, відповідь на останне питання

може дати порівняна ембріологія, яка встановлює, що черепи зародків та молодих антропоїдних мавп високі, гарно сформовані і більш схожі з людськими аніж черепи дорослих індивідуумів. А маючи на увазі досвіди з штучним добором, які показують, що дані за для дальшого розвою мусять матись у зародка вже в лоні матері, коли повинен бути досягнений більш високий результат добору, треба признати, що виспа форма, яка витворила ся з мавпи — первітна людина, не повинна була в дорослім віці знову спускатись до грубої плескуватої форми черепа своїх батьків — дорослих мавп, а навпаки утримувати форму черепа зародка.

Тоб то первітна людська раса повинна була мати не плескувати, а навпаки високі черепи, як у зародків антропоїдних пігмеїв та великої раси людей.

Раса з плескуватими черепами повстала пізнійше і була боковою парістю людського роду.

Автор і сам признає, що гіпотеза його потребує ще фактичних доказів, а на читача вона робить вражінне деякої штучности. Перш над усе д. Кольман надає занадто велике значінне зросту, вважаючи, що малий зріст треба брати за ознаку первітного становища, за ознаку низшої форми.

Проте ся прикмета не може взагалі бути критерієм високости розвою, бо се річ дуже мінлива.

Багато є прикладів, що різниця в зрості зовсім не провадить за собою яких небудь помітних варіацій в анатомічній будові. Напр., як каже Klatsch, кістки лева остільки схожі з кістками kota, що їх можна вважати побільшеними котячими, проте різниця в зрості сих звірів дуже велика.

Треба додати і те, що зовсім невияснено, які фактори впливають на великість тіла і чи можна сю властивість вважати завжди корисною для розвою гатунка. Аргіогі можна припустити, що тут головну роль грає багатство їжі і легкість здобування її, і часом великий зріст може бути корисним у боротьбі за існування, а дуже часто і шкодливим, загрожуючи самому існуванню гатунка; досить тільки згадати скільки вимерло гігантів звірячого царства.

Проте автор скрізь рішуче, наче се вже цілком доведено, висловлює, що первітна форма повинна була мати малий зріст, а позаяк *Pithecanthropus* був значного зросту, то за для потреб власної гіпотези, д. Кольман визнає його боковою парістю, нездатною до дальшого розвою, не вважаючи на те, що ся мавпа мала велику

кількість мозку, що здавалося б, повинно мати рішуче значінне в с'їм питанню.

Опріч того д. Kollmann принижує для тоїж мети значінне неандертальської раси і легковажить широке її розповсюдження, що їй не зовсім пасує, аби вона була якимсь випадковим явищем і не була здатна до дальшого розвою, чому між иншим суперечить вказівка, що черепи з Сру та Крапини мають зм'якшені риси неандертальського, тобто повинно значить, що ся раса власне і була здатна до розвою і справді еволюціонувала.

Треба сказати ще й те, що автор не довів своєї думки, буцім то черепи первісної людини повинні бути гарно сформовані, як у сучасної людини. Що з того, що у зародків мавп форма черепа гарно сформована? се не перешкоджає їй у дорослім віці набувати прикмет, які характеризують низший тип.

Правдоподібно, що хоч черепи якогось *proanthropus*'а були теж гарно сформовані, про те у дорослих субектів вони спускались до низшої форми і тільки в деяких рисах мали перевагу над черепами малц, а не були цілком схожі з черепами сучасної людини.

Се б суперечило всьому загальному ходови розвою органічних форм, де нема ніяких різких переходів та раптових змін.

Такі закиди на нашу думку, можна зробити супроти гіпотези д. Kollmann'a; про те у всякім разі треба визнати, що розроблене сього важного та цікавого питання з нового становища може бути тільки корисною, бо істина вияснюється тільки в боротьбі різних напрямків і між иншим можна сподіватись, що сей важкий та темний шлях освітить та розчистить ембріологія, бо організми у своїм онтогенетичнім розвою коротко переходять безкраю путь, зроблену їх прадідами у філогенетичнім.



КУРД ЛЯСВИЦ.

Блискавка в хеволі.

Я вродилась —

Уродилась? А се що знов за безглузде? Одна з тих дурниць, якими пишають ся люди. Я не родилась, не родилась ніколи. А ти, може ти родилась, стара щитальнице?

— Тік-так, тік-так, — відповів часовказ у дзигарі електричного току.

— Скажи виразнійше, я не розумію, — крикнула жарова лампа.

— Або я знаю, чи я родилась! — відповіла щитальниця. — Я про се не думала ніколи. Та я бачила вже не одну так скляну грушку, як ти, як згарала на смерть, — то певно вона мусіла й уродити ся.

— Не плети дурниць! чи то я скляна грушка? Чи може я вугляна нитка? Певно, ти така нужденна пружина: як тебе накрутять, то біжиш, а ні, то станеш. Але я. — я зовсім не те.

— Тік-так! Тік-так!

— Тепер справді я сиджу в отій лампі, свічу лишень на отсей стіл, на сині зшитки і білі аркуші, і на чоловіка — але колись — розповісти тобі?

— По що питаєш? Тиж і так розповіси.

— Правда твоя, ти нудна рахубо! Не кождомуж день і ніч отак тикати та такати. Буває таке, що й я розговорю ся — адже так довго мушу мовчати. А коли жарю ся, то також говорю. А коли ти не захочеш слухати, то я скажу оттому чоловікови, хоч він і родив ся.

— Тому? І він зрозуміє тебе?

— Чи зрозуміє? Яж йому свічу.

— Бо мусиш.

— Мушу? Не сердь мене! Не перебивай мені! Я тремчу, то його мозок мусить тремтіти. Тому він і бачить усе довкола. Се моя мова. Барва! Барва! Ось що я даю. Ти не бачила ніколи, коли він пише в синіх зшитках, то з його пера пливе червоне, а на чолі темна смуга, а лице блідне-блідне. Та коли пише в малій, чорній книжочці, то пише

чорно, а його лице зарум'янить ся, а очи світять ся синім.

— Як ти то все знаєш! Але тепер він пише на великих аркушах. Сего ти не розумієш.

— Що, яб не вмiла читати? Ми світові духи прояснюємо світ, наше знане таке широке, як батькове велетенське рамя. Там на великім аркуші подане, просьба, щоб йому щось дали — щоб своє здоров'я — він так дуже запрацьований — запра —

— А бачиш, не вмiєш прочитати.

— Вмiю, але не хочу! Не люблю того слова.

— Що се за слово?

— Годі! на другім аркуші стоїть, хто він такий. „Я Карло Хведір Матгоф урожений у Вальденбурзі, син купця Емілія Матгофа і його жінки Катерини, уроженої“ — Знов урожена! Досить мiні того. Я не врожена, ні! Слухай!

Там у горі у просторі, де планети шлях верстають, там то мати мене зі сну будить, мати сирая земля, коли в танечному вирі батька мого безконечний вітер у лице цілує. І я в низ несу ся, а воздух здіймаєсь, і клублю я мряки в летючі хмари, і гоню я бурю ночами літними в горячу жадоху — жива і безсонна.

„Жива і безсонна“, так записав чоловік у своїй автобіографії, якої початок стояв на папері. Потім ухопив себе за голову, з дивом поглянув на слова написані ним, відсунув лист на бік і кинув перо геть.

Простяг ся в своїм кріслі і вяло опустив руки. Його великі, ясні очи звернули ся на лагідний блиск лампи над його столом і йому здало ся, що лампа відсуваєть ся все далі й далі від нього. Оси його очий звільна розхилили ся, поки його зір не впив ся в безмежну далечінь, а все близьке не щезло перед ним. Лампа моргнула тріумфальним розблиском до щотниці і говорила далі:

— Я не вроджена — я лише збудила ся, і знов засну і знов збуджу ся. Бачиш там на малюнку білі шпилі вистають над темними скелями. Бачиш, як із ледівця вискакує пінистий потік? Пізнаєш розтрісканий пень карловатої смереки? Таке було там, де я уперве збудила ся.

Там піні я здибала в пралісі гірському, — тріщали, валились вони, а з гуркотом я долини засівала все градом ледовим. Я була та туча, я була та блискавка. У світлому строю

від хмари до хмари скакала я бистро, а з хмари на землю грохотливим громом, лупаючи скелі, і знов виринала у гору до темної хмари в грі духів степових. Ти бідна, стара тикавко, що ти знаєш про небесну свободу етерової доні? Знаєш ти тиху, парою ситую нічку липневу, з важким тужливим запахом цвітів, коли закохане місячне проміне ллеть ся по стеблах луки? Тоді я втиснусь тісно-тісненько в спокійне повітрі і ваблю принадами к собі його. А як несли ся в тісних обіймах, то плакали слізми роскоші. Маленькі краплиночки мряки, що я їх полохала своїм віддыхом горячим, клубили ся в місячнім блиску, м'яко закруглюючи білу хмару. Я притягла її до себе і палко обі ми запалали з кожним поцілунком, як миготливі блискавки липневої ночі.

Чоловік на своїм кріслі стиха зітхнув. Знов узяв ся за перо, але великий аркуш і сині зшитки відсунув нерадо на бік. Взяв свою маленьку книжечку і писав у ній. А лампа говорила далі:

— У сонічнім блиску для іграшки я огорталась серпанком розкропленого водоспаду. І бачила людей у самотній долині гірській. Чудний якийсь шлях будували, скелі розбивали, понад безодню стрункий міст перекидали. Залізні шини клали на землю — далеко-далеко. Тут їхать чудово чи в гору, чи в низ, ще легше і гладше, ніж коли я моргаючи краю повітрі. Тоді напяли блискучі, червоно-искристі дроти по над шини у гору. Вони мене ваблять, могутно по них погуляти, коли я в шумливому вихрі летіла понад ті висоти. Про тее здавалось, що сила моя послабає, коли наближу ся до них. Мов заказ невідомий спиняв мене, розтанцьовану в вольній забаві між водами й хмарами. Мене остерігала мати земля; її голос грізний чула я у громах, вона кликала розпустовану доню:

— Не торкай ся до діла рук людських! Не торкай ся до діла рук людських!

Се була її осторога.

Та я не розуміла, чого вона хоче.

— Чому ні? — питала я в неї. — Щож таке люди?

— Твої пани й мої.

Я з дивом і з дрожю се вчула. „Пани? Чому пани? Чи я не проміняста етерова доня, що блискає над висотами, як їй до вподоби? Що той чоловік, що стогне в поросі, той маловічний червяк, що він має міні до розказу?

— Як хочеш послухать, скажу тобі, тількиж чи ти зрозумієш? В найтяжшій пригоді не знаєш ніколи, чому він твій пан, лиш тее відчуєш, що пан він. Верткий, безтурботний твій ум, хоч маєш ти силу, та сила та — гра. Йогож сила праця.

— Праця? Що таке праця? — запитала я зухвало. І з хмари скочила на землю крізь пеня високої сосни, аж полумя бухнуло зразу.

— Бережись! — сердито окликнулась мати. — Не торкай ся діла рук людських, щоб тебе не вчили, як смакує праця. Бережись, щоб не мусіла ти працювать! Бо твоя праця буде не як людська праця. Я чула темну загадку, що праця веде чоловіка до свободи. Та твоя праця буде праця раба. Бережись доторкати ся до діла рук людських!

„Бережись!“ Раз у раз брєніла в мині та осторога при моїх забавах. Праця — праця! Се мусить бути щось страшне. Але що в ній страшне? Від людей я колись чула се слово, коли раз по металовім дроті під вікном їх пролітала. Я бачила, як вони тремтючи стояли в покою, і мала те темне почуте, що тут щось таке для мене чужее. Та я не піймала, не знала, що се. Що мало бути страшно? Глибока безодня гірська, в якую котить ся лявіна? А я пролітала над нею. Чи темний простір той у горі, отой безконечний? Живе там мій батько, князь етеру, сонця собі там звістки подають. Значить, к низу, де люди живуть? Там чатує праця. Який її вигляд? Певно ті довгі, прості, чотирикутні стрічки, раз чорні, раз зелені, раз жовті, що там простяглись по рівнині й почерез горбки, — се мабуть праця. Вони все лежали покотом на землі і не ворушились — то певно дуже страшно. І я мала-б бути такою стрічкою? Се погань. А таки мати казала: чоловік твій пан, а його сила то праця. Мій пан? Працею він би мав моїм паном стать ся? То мусить же праця та бути щось ліпше, як я? Хто відгадає міні сю загадку? Не раз я довго в холоднім просторі отам спочивала й замислена хмари біжучі та іскри блискучі свої забувала. А всеж таки се небилиця, щоб мав чоловік панувать надімною — чи тим своїм полем в низу? Дурниця!

З розбурханим вітром на море лечу я і в танці скаже-нім у хмару своєю я хвилі втягаю і блискаю з здутої тої труби і в моря питаю:

— Що таке праця?

— Беріг! Беріг! — глухо стогне до мене море.

Пізнала я, що не багато довідаю ся. Бо беріг, сеж його обрій, а що по за тим, то все для моря „беріг“.

— Що таке чоловік? — запитала я далі. — Чи він наш пан?

— Не знаю пана, — булькотіло море. — Щось тут десь-колись плаває по міні, але мене се не болить. Зрештою чоловік звичайно труп. На жир для риб не згірший. І що таке „пан“? Не будь така цікава! Беріг! Беріг!

І я знов дмухнула з над моря. З морем нідочого не договориш ся. Занадто велика і тяжка маса. Кого б міні запитати?

Я мусіла шукати діла рук людських, бо мої товаришки не знали більше як я. Але до діла рук людських я не сміла доторкати ся. Може до шин? По них я сковзалась не шко, дячи їм. Та вони не вміли говорити, се вже я пізнала. А що як би на червоний дріт? Чи наслідуюсь? Я не мала спокою.

Глупо се! Ся одна думка вже вязала всю мою свободу. Чи се вже була праця? Чи може праця те власне й значить, що спиня мою вольную волю?

Одного дня я знов гуляла по хмарах над шпилем гори. Аж бачу, по шинах щось лізе чудне. Чіпаєть ся за зубці середньої шини, та довгою шиєю сягає до червоного дроту і лиже його блискучим язиком. А в нім сидять люди. Що їм тут у мене за діло? До того ще й веселі, короговки треплють ся в вітрі і пісні звенять із нутра. Тішать ся люди. А я скрізь вітру працю, — чи й сей вагон, то також праця?

В щитальниці щось захарчало.

— А се що? — запитала лямба, сердита, що їй перебили.

— Тік-так, — відповіла машина байдужо. — Я лише здивувалась. Люде були веселі — кажеш, — і вагон, то праця — кажеш — і праця, то щось страшне? Се нісенітниця, ти архидотепне світло. Що скажеш на се?

— Люди не те, що вагон, ось що скажу тобі, стара педантко. І загалом я не розуміла сего діла. Я власне хотіла дізнати ся про працю і подумала, що вагон може міні се сказати.

— От як би ти мене була спитала, — мудро сказала

щотниця. — Я вже тепер нарозумила ся. Скажу тобі, що таке праця — се онті сині зшитки. Чи бачиш, як чоловік отсе підіймає зір від чорної книжечки, позирає на годинник і боязко зиркає на сині зшитки? А ти, як ти могла бути така дурна і зневажити осторогу перед працею?

— Говори мудро, тепер, коли я навчила тебе. Я власне вже зовсім не бояла ся небезпеки — попасти людям у неволю, і так міні щось мішало в моїх забавах. Раз хотіла я пізнати, як виглядає та праця, чи справді може спромогти мене.

Чоловік скочив на рівні ноги, неспокійно заходив по кімнаті. Вже лампа боялась, що схоче її закрутити. Та він усів знов і підпер голову рукою. Лампа могла кінчити своє оповідаңе.

— Міцно склубила я хмари і стисла їх у низ по скелі, поки вагон повзав у гору, в мою мряку. Я хтіла силу зібрати, щоб з повною міцю грянути на вагон і на людей у ньому. Але зо мною знов сталось щось дивне: в близу дрота, бачилось, моя сила маліє, мої хмари стратили пружність. Та більше їх, усе більше котила я із ледових верхів, і ось почула ся сильною доволі — і метнула ся в низ і з громовим гуркотом вдарила ся до воза.

— Га — що се таке? Я думала, що з воза й людей і пилинки не стане, та за те побачила лише, як у вагоні світло запалало, і бачила ще лише, як безсоромні люди засміяли ся, але до воза не могла дібрати ся. І на дроті я не могла вдержатись, полетіла по нїм і опинила ся в високій галі, де шалено крутили ся колеса. Я надумала порозбивати їх, та попала в лапку. В галі затріщало і залускало, снопи іскор сипались, чули ся оклики, один чоловік прискочив і обернув одну рукоять — і я почула себе роздертою, моя сила послабла. Хотіла назад утікати до мами землі і не могла; хотіла знов підскочити до хмар, що несли ся отам пару миль надімною високо, та не могла. Мене звязали, привязали до сих крутих мідяків, до довгих і темних дротів — я вже не блискавка, я зловлена, піддана людська.

— Тік-так, тік-так! — потакувала щотниця.

— Так, так, ти нудна щотнице, утраплене пудло, і ти належиш до моїх мучительок. Мене міряють, а коли понаставляють лампи, я мушу світити.

— І що з того? — мовила щотниця. — Маєш в усякім разі дуже корисне заняття і приємну перемену. Тобі геть ліпше, як міні, а я про те зовсім собі байдуже.

— Ти не знаєш иншого житя і ніколи не зрозумієш мене. Тепер я знаю те страшне — працю. Не те, що горю, а те, що мушу, ось що! Мушу, мушу! Отсе болить!

— Мушу! Мушу!

Глухий стогін. Чоловік застогнав.

— Бачиш, і чоловік мусить! — потішала її щотниця.

— То й я подляю з ним його долю, а про те він мій пан. Як він сміє силувати мене, вольну душу етеру, ненароджену, незнищиму силу всесвітню, як він сміє силувати мене до праці, до якої змушений і сам?

— Мусить.

Чоловік випрямив ся. Відсунув на бік папери і малу книжечку і взяв ся за сині зшитки.

— А бачиш, — мовила щотниця, — яку я правду сказала.

Щотниця тукала, лампа горіла, мусіла.

А чоловік узяв ся за перо і сказав:

— Хочу.

Ю. БУДЯК.

ЛЮБОВ.

Якби я знав твої думки —

Чужих країн квітки,

Бажань твоїх дівочих рай —

Щасливий був би вкрай!

Якби твій погляд на мені

Спинявся як на рідні, —

Я б вищим полум'ям понявся —

І піснею б пославсь.

Якби я знав, що ти моя,

То богом став би я,

Яснішим богом меж богів

І всіх би в рай увів.

Якби хоч раз тебе обняв —

Я б паром хмари став,

Увесь би мир тоді обняв

І ласкою б ростав!



М. ГЕХТЕР.

Чи можлива в нас інтенсифікація селянського хліборобства?

З легкої руки уряду, в Росії останніми часами стали дуже багато балакати про інтенсифікацію¹⁾ селянського хліборобства. „Ніякого додаткового наділення землі нашим селянам не треба“ — на кожнім кроці запевняють вороги примусового відчуження. „Подивіть ся на французького або бельгійського селянина, — кажуть вони — як він благоденствує на дрібнесенькім клаптику землі в $\frac{1}{2}$ або в $\frac{3}{4}$ гектара (гектар = $\frac{9}{10}$ десятини), в той час, як наш селянин ніяк не може справити ся з голодом на 3 — 5 десятинах. Через що се? — запитують вони. А через те — зараз же відповідають, — що закордонний селянин освічений, культурний, вміє добре ходити коло землі, а наш — темний, некультурний, тільки псує землю, а не обробляє її“. Висновок із сих міркувань завжди один: треба навчити селянина, як вести з користю своє господарство, й тоді ніякого додаткового наділення не треба буде.

В сих порадах було б дуже багато правди, коли б вони не стояли на цілком хибнім ґрунті. Річ у тім, що наші порадики забувають одно елементарне право політичної економії: ніяка система сільського господарства ані абсолютно гарна, ані абсолютно погана. Кожда система звязана тісно з загальним економічним ладом даної місцевости. В історії господарства — каже відомий економіст Карішев — бували приклади сміливих скоків до високо-інтенсивних систем, минаючи посередні, — але кінчали ся сі сироби завжди невдало. Такі випадки трапляли ся найбільше при колонізації (переселеню). Хлібороби, які звикли в ріднім краю до кращих систем господарування, пересажували їх на нові місця, при цілком відмінних економічних обставинах; але практика здебільшого примушувала їх пристосовувати ся до місцевих обставин. Німці, що переселили ся до Росії, мусіли прийняти російські системи хліборобства. Де-які остзейські (надбалтійські) дідичі запрошували до себе

¹⁾ Господарство зветь ся інтенсивним або екстенсивним в залежности од того, в якій мірі затрачують ся на нього сили природи, праця та капітал. Екстенсивне господарство — таке, в яким першу роль грає перший фактор (здебільшого кількість землі); інтенсивне — таке, в яким головну роль грають праця та капітал.

колоністів з Німеччини, щоб відразу піднести інтенсивність господарства — і сі колоністи часто-густо повертають ся старцями до дому. Така сама доля спитвала аналогічні спроби в де яких частинах Бельгії, Мекленбурга, Данії, Злучених Держав.

Чи назріли ж в Росії взагалі, а на Україні зокрема умови, які сприяли б заведенню в нас інтенсивних систем хліборобства? На сей запит можемо, не вагаючись, відповісти негативно: тепер у нас нічого й балакати про інтенсифікацію приватно-господарського, а особливо селянського хліборобства. На перешкоді сьому стоять дві причини, яких поки що рішучо не можна обминути: се, насамперед, загальне економічне положення країни, а потім — брак засобів і знання у нашого селянства.

Загальне економічне положення Росії ні з якого боку не може прийняти інтенсифікації сільського господарства. Неминучі передпосилки її такі: велика густота людности, низька норма прибутку на капітали, дешевість капіталів, яка являеть ся наслідком низької норми прибутку, велика кількість городських осередків, високі ціни на хліб, висока заробітня платня й багато інших. Далі ми постараємо ся більш-менш докладно розглянути кожду з сих передпосилок, в якій мірі вони необхідні й яке їх становище в нас в Росії.

Почнемо з густоти населення. Кожному відомо, що коли людність живе не дуже густо, коли її потреби невеликі, вона задовольняеть ся меншою продуктивністю землі. Інтенсивні системи бувають у таких випадках не вигідними, бо вони збільшують видатки тоді, як ціни на продукти не зростають, через малий попит на них. Навпаки, велика густота людности дуже сприяє розвитку інтенсивних систем сільського господарства, бо тоді зростає попит на продукти, в звязку з сим зростають і ціни на них і, значить, господарі мають підставу вкладати в землю більше капіталів, маючи певну надію, що вони дадуть добрий прибуток. Отже звертаючись до Росії, ми бачимо, що вона з боку густоти населення стоїть майже за всіма країнами. Так, Бельгія — та сама Бельгія, на яку так люблять поглядати ся наші порадишки — має 220,7 душ на 1 кілометр. Голандія має 148,5 душ на 1 кілометр, Англія — 124,8, Італія — 108,7, Німеччина — 96,0 Швайцарія — 73,2, Франція — 71,6, Австро-Угорщина — 66,2, Португалія — 57,6, Данія — 57,5, Україна — 50,2, Сербія — 47,9, Румунія — 45,0, Еспанія — 36,6, Болгарія — 36,1, Греція — 35,4, Турція — 32,4, Чорногора — 27,5, Росія — 19,5, Швеція та Норвегія — 9,0.

Таким чином, тільки в Швеції та Норвегії людність рідша, ніж у Росії; і тільки в 8 другорядних або й третьорядних — ніж на Вкраїні; у всіх же інших країнах, в тім числі і в тих, де розвинене інтенсивне господарство, людність живе незрівняно густіше.

Та чи иньша система сільського господарства також залежить од того, який прибуток мають капіталісти даної країни: малий чи великий. При низькій нормі прибутку капіталістам є рація замінити перемінний капітал постійним, себ-то заводити дорогі сільсько-господарські машини, вживати штучне удобрене, переходити од зернового господарства до капіталістичного-молочного, сироварного, цукроварного, винарського. З другого боку, низька норма прибутку робить капітали дешевими так, що небогата людина, прим. селянин, за невеликий відсоток легко може дістати необхідні йому видатки для поліпшення свого господарства. Таким чином, низька норма прибутку сприяє інтенсивній системі сільського господарства, яка вимагає великого напруження праці та капіталів, а висока норма прибутків сприяє екстенсивній системі, яка головним чином тримає ся на силах природи й на невеликих затратах праці та капіталу.

Звертаючись до питання, як стоїть справа з нормою прибутку в Росії, ми бачимо, що ніде в світі вона не досягає таких великих розмірів, як у нас. „Російські та польські промисловці — каже д. Роза Люксембург на ст. 19 своєї праці „Промышленное развитие Польши“ — мають дивовижні („чудовищные“) прибутки на внутрішнім ринку. Приблизне поняття про ці прибутки можна собі виробити вже на підставі офіціальних дат самих фабрикантів. В 1887 році, напр., чистий прибуток вносив.

Для „Русской бумагопрядильни“ в Петербурзі	15%
„ „Товарищества мануфактуры Морозова“	16%
„ „Товарищества мануфактуры Балина“	16%
„ „Нарвской Лignoпрядильни“	18%
„ „Сампсоніевской бумагопрядильни“	21 ₃ %
„ „Екатерингофской бумагопрядильни“	23%
„ „Рабененской бумагокрасильни“	25 ₄ %
„ „Измайловской бумагопрядильни“	26%
„ „Мануфактуры Саввы Морозова“	28%
„ „Невской бумаготкацкой фабрики“	38%
„ „Кренгольмской мануфактуры“	44 ₉ %
„ „Фабрики Торнтонна“	45%

Для останніх часів маємо не менш вражаючі дані про прибутки в російській металевій промисловості. Металургічні підприємства південного (українського) району дають пересічно 50% (курсів автора) прибутку, великі ж заводи Англієця Юза (Hughes) дають навіть 100%.

На жаль, ми не маємо тепер під руками відповідних даних що до розмірів норми прибутку в російським сільським господарстві, але з наведених вище цифр можемо зробити висновок, що і в сільським господарстві капітал приносить чималий прибуток. В противнім разі в нас помічав ся б одплив капіталів з сільського господарства до фабрично- заводської промисловості, в той час, як такого процесу в нас не помітно.

Таким чином, і з сього боку — збоку розмірів норми прибутку на капітал нема жадних підстав гадати, що перехід до інтенсивних систем сільського господарства був би в нас можливим.

Що до кількості великих городських осередків, то нічого й казати, яке величезне значінне вони мають для інтенсифікації сільського господарства. Великі міста творять найприроднійший ринок для продажу продуктів сільського господарства, особливо інтенсивного: овочів, ярини, молочних продуктів і т. и. Через се ми й бачимо, що в Західній Європі дрібне інтенсивне господарство розвинене навколо великих міст. Парижа, Брюсселі, Лондона і т. д. Чим дальше од великих міст, тим сільське господарство стає менш інтенсивним. Ще Г. фон-Тінен в своїй знаменитій книзі „Самотня Держава“,¹⁾ виданій в 1826 році, виходив із цієї аксіоми. Він пропонував уявити собі державу цілком відокремлену від всього світа. В центрі його є велике місто — єдиний ринок для продажу продуктів сільського господарства. Держава має спеціально хліборобський характер, по всім своїм просторі має однакові шляхи, однаковий ґрунт, на яким можуть рости всякі рослини, однаковий клімат. Словом, всі умови господарювання в ній однакові для всіх місцевостей, крім одної — далечини від ринку. В місті встановляеть ся базарна ціна на хліборобські продукти. Одвинувши відатки на доставку продуктів, ціна ся однакова з місцевими цінами. Останні, очевидно, зменшують ся, чим дальше місцевість од центра. Через се од осередка держави до периферії системи господарства

¹⁾ Н. v. Thünen. Der isolierte Staat. Російський переклад переробив і видав М. Волков під назвою: Фонъ-Тюненъ. Уединенное государство въ отношеніи къ общественной экономіи. Карлсруе, 1857.

стають все менше і менше інтенсивними: виходить, що місто оточене концентричними колами, од найвищих систем культури до первісних. Найближче до осередка коло, користуючись городським удобренням, може завести вільну систему.¹⁾ Друге коло заняте плодозміном²⁾, бо брак штучного удобрення примушує шукати засобів до відновлення урожайности у власнім господарстві. Третє коло заняте різними відмінками зернових систем, бо далечінь од ринку не сприяє розведеню корінноплодів, які не витримують далекого перевозу. Четверте коло — місцевість, з якої навіть зерновий хліб не можна приставляти до ринку через дорогий фрахт. Через се тут найвигідніше продавати зерно в переробленім виді (напр., в виді спирту). Се — коло технічного господарства. В решті кол сіяти хліб стає все менш і менш вигідним, і центр ваги господарства переносить ся помалу до скотарства, бо де-які його продукти, а також живу скотину легше перевозити до ринку. Пяте коло заняте переложною³⁾ системою, шосте — пасовисками. Нарешті, ще дальше починаєть ся коло полювання.

На практиці, розумієть ся, важко знайти таку ідеальну країну, яку намалював Тінен, але його схема має иньше значінне: воно очевидно показує, як впливають великі городські центри на ту або иньшу систему сільського господарства. Прикладаючи сю схему до Росії, ми бачимо, що і з сього боку наші обставини не дозволяють завести в нас у більш або менш широких розмірах і інтенсивні системи сільського господарства — плодозмінну або тим менше вільну. Зрівнюючи кількість нашого мійського населеня з сим самим населенем трьох значнійших європейських держав, одержуємо ось яку картину⁴⁾:

1) Вільна система сільського господарства найбільш інтенсивна з усіх які є. Вона характеризуєть ся великими затратами капіталу на штучне удобрення та ще тим, що дає спроможність легко переходити од одної культури до другої, в залежности од вимог ринку.

2) При плодозмінній системі рослини чергують ся таким чином, що попередня удобряє ґрунт для дальшої. Сим усуваєть ся виснажане ґрунту, яке являєть ся наслідком одноманітної культури. Така система вимагає великих затрат праці й капіталу.

3) Переложною зветь ся така система сільського господарства, при якій поруч із скотарством розвинене також і хліборобство, але під культурними рослинами занята ще порівнюючи невелика площа землі. Після кількох засівів землю або вовсім кидають або випускають під ліси чи під пасовиська.

4) Цифри для укладеня сієї таблиці взято по части з енциклопедичного словника Брокгауза-Ефрона, а по части з „Статистичного Справочника“.

	Росія ¹⁾			Німеччина ²⁾			Франція ³⁾			Англія ⁴⁾			Рос. Україна ¹⁾		
	Кількість міст.	Кількість людности.	% до кільк. всієї людн.	Кількість міст.	Кількість людности.	% до кільк. всієї людн.	Кількість міст.	Кількість людности.	% до кільк. всієї людн.	Кількість міст.	Кількість людности.	% до кільк. всієї людн.	Кількість міст.	Кількість людности.	% до кільк. всієї людн.
Міст в людні- стю звиш 1 мл.	2	2,302,687	1,88	1	1,579,244	3,19	1	2,660,550	6,80	1	4,591,000	12,11	—	—	—
Міст в людні- стю од 500 тисяч до 1 мл.	1	638,208	0,50	—	—	—	—	—	—	3	1,589,000	4,19	—	—	—
Міст в людні- стю од 100 до 500 тис.	16	2,856,898	2,25	25	4,415,126	8,88	14	2,649,667	6,97	11	3,036,000	8,01	5	1,068,424	4,01
Міст в людні- стю од 50 до 100 тисяч .	37	2,401,000	1,89	21	1,575,000	3,18	22	1,474,621	4,08	40	3,892,000	10,27	10	655,776	2,40
Усього	56	8,198,793	6,46	47	7,569,370	15,80	37	6,788,838	17,86	55	13,108,000	34,58	15	1,724,200	6,41

¹⁾ По перепису 1897 р.

²⁾ По перепису 1890 р.

³⁾ По перепису 1901 р.

⁴⁾ По перепису 5 цвітня 1891 р.

З цієї таблиці читач може пересвідчитися, на скільки в нас нерозвинені мійські центри: на 126.411.736 душ всієї людности

Росії набираєт ся всього 8.198.793 або 6,46% мійського населеня, тоді як Англія на 37.888.153 душі всього населеня має 13.108.000 або 34,58% мійської людности. Що до дуже великих міст, то в Росії на них припадає ледви ледви 2,32% людности, тоді як в Англії в однім Лондоні живе 12,11% людности країни, у Франції — в однім Парижу живе 6,90%, а в Німеччині — в однім Берліні 3,19%. Крім того не слід забувати, що цифри, наведені в нашій таблиці, тепер — бодай, що до Англії та Німеччини — значно перестаріли й що останніми часами мійське людність тих країн іще більш зросла і абсолютно, і відносно. Але коли справа з розвитком великих міст стоїть дуже погано в Росії взагалі, то на Україні вона стоїть особливо погано. Як видно з наведеної таблиці, великих міст (з людністю звиш 500 тисяч) на Україні зовсім не має. Є 5 міст з людністю од 100 до 500 тисяч, але навіть всі вони, взяті в купі, не можуть відограти тієї ролі, яку грає Петербург, Москва або навіть Варшава. Ясно, що при таких нерозвиненім ринку буде занадто сміливо покладати якісь надії на інтенсифікацію сільського господарства.

Розміри заробітньої платні, яку одержують наші робітники, теж лишають бажати багатого кращого. Наводимо кілька цифр для характеристики :

	Щорічна заробітня платня.	
	В сільськім господарстві	В фабрично-заводськім промисл.
Злучені Держави	500 карб.	694 карб.
Англія	310 "	408 "
Франція	250 "	350 "
Німеччина	180 "	310 "
Росія	61 " 20 коп.	240 "
Україна	50 " —	147 "

При такій мізерній платні, як 50 карбованців робітникови за цілий рік праці, при чім в де-яких місцевостях і в де-яких випадках ся платня понижуєт ся до 30 і 25 карбованців, сільським господарям, особливо великим, нема ніякої радії заводити дорогі машини, будувати великі будівлі, — взагалі замінити перемінний капітал постійним або живу працю машинною. З другого боку низька заробітня платня свідчить про низький рівень потреб людности та про низький рівень її культурного розвитку, а сих обох факторів, гадаємо, ніхто не порахує до тих, що сприяють інтенсифікації сільського господарства.

Ми розглянули найголовніші умови, яких вимагають наука й досвід для інтенсифікації сільського господарства. Результати нашого розсліду приводять до єдино логічного висновку: інтенсифікація сільського господарства, особливо селянського в більш або менш широких розмірах, тепер у нас не можлива, і всякі проби в напрямі її заведення мусять скінчити ся невдало. Додатковий наділ і тільки додатковий наділ, на яких не було б умов, може поліпшити положення нашого селянства: инакшого виходу не має.

ПИЛИП КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ.

Школї.

'Ми недужі, ми хорі, скалчені вкрай, —
 А за віщо, коли — не питай, не питай!
 Чи ж такими, брати, ми з початку були?
 Живавий розум і серце батьки нам дали;
 Вся істота тремтіла бажанням життя,
 Пориванням до праці, до світла й знаття.
 Ми уміли кохать, ми бажали кохать,
 За братів ми збирали ся душу віддати,
 Мали серденько чуле, й здавало ся, в нім
 Кождий рух викликавсь почуттям молодим;
 Мали віру в людей, мали віру в житте
 Намагались мерщій розпочать боротте,
 Щоб навіки пітьму і неправду змести,
 Щоб до спільного світла усіх піднести.
 А тепер? Без пуття свій принизили дух
 І бажання вогонь в хорім серці потух.
 Ми надії зріклись, в серці віри нема,
 Мов безсилим рабам світ усім нам тюрма.
 Деж поділо ся все? Від чиеї руки
 Враз зівяли в душі дорогі квітники?
 Хто житте молоде нам понівечив вкрай?
 Коли хочеш прощать, — не питай не питай!
 Ті усі, що взяли ся нам дати знаття,
 Показати шляхи до борні, до життя,
 Серце чуле ущерть нам коханням налить
 І огонь провідний на душі запалить.
 А вони і сами вже мерцями були:
 Замість світла й знаття нам отрути дали,
 Тай покинули геть без шляху, без мети...
 О, прокляте на вас, безсоромні кати!

— x —

АЙТОН СІНКЛЕР.

НЕТРИ.

ПЕРЕДМОВА

(з німецького видання).

Коли Айтон Сінклер видав в Америці свій роман: „Нетри“ — зняла ся страшна буча. Скрикнула з жаху вся республіка. Сей роман відкрив прилюдно страшенну рану сучасного громадянства, яка — без тямущого і сміливого лікаря — могла ширити ся далі, ховаючись від ока людського.

Сінклер служив за простого робітника в Чикаго на різницях і все, що він там витерпів, він переказав своєму народови. Власники тих величезних різниць набивали свої такі-ж величезні кишені коштом життя і здоровя своїх робітників. Переробляючи всякими способами ті харчі, разсилаючи їх потім по всім світлі, вони не звертали ніякої уваги на чистоту: нехтували найперші вимоги гігієни. Здрігнеть ся з огиди всякий, хто прочитає сю повість, коли довідаєть ся, як сі пани власники, не боячись суду, толочать ногами всякі людські права ближніх своїх.

У країні свободи виявив Сінклер ті темні справи і уряд американський зараз заходив ся провірити все, і виявилось все, і виявилось, що Сінклер правдиво описав життя робочих на різницях. І зробив уряд кілька проб, щоб поліпшити долю тих робітників. Але всякий, хто прочитає сю повість, зрозуміє, що всі ті заходи уряду не здадуть ся ні на що. Бо ся повість лиш одно зернятко з великого намиста, подинка подія з цілої системи визиску праці у тій країні свободи. Повість Сінклера виразно нам се виявляє і в сім велика її вага і заслуга. Та на сім ще не край. Коли-б повість Сінклера виявляла на світ божий тільки таємниці чикагських різниць, вона зацікавила-б людей тільки на один день. Але ся повість є пісня злиднів американського робітника, стогін нечуваного, неописаного страждання борців за життя у водокрутї поденної роботи, плач втоми, каліцтва і безнадійности... Сі нещасні люде проводять увесь вік свій у темряві; вони ідять тільки для того, щоб сила була робити, а роблять для

того, щоб було що зісти та голову де на ніч прихилити, а пють — щоб хоч на час про лихо своє забути. Тільки в Америці, країні свободи, могла пролунати ся смілива пісня боротьби за світло і людські права. Смілива, правдива пісня! Проста — як пісня народня! Вона розкаже про людей, які помандрували з світлими мріями у ту країну великих надій, та обдурили їх ті мрії і надії — і вони, ті нещасні люде, тиняючись по нетрах та печерах, ловлять хоч один маленький промінь світла. І нема їм рятунку, нема виходу з тих темних, огидних нор, дарма, що гірко працюють вони від до-світу до пізньої ночі.

Яка-небудь нещасна пригода вириває їх з того водокруту поденної роботи — і вони пропадають з голоду прилюдно, серед стотисячної юрби байдужого народу. На гнилим ґрунті живуть робітники в країні свободи, гнилим мясом годують ся, а всю силу з них ссуть капіталісти, для котрих нема ніяких законів. Там, у тій країні великих надій, суддів можна підкупити грошми, а поліція держить руку здирців — дукарів; людей середнього достатку там нема: тисячі людей там бенкетують, а мільони — з голоду пропадають. Про лихе життя тих мільонів злидарів розкаже у своїй книзі Айтон Сінклер, друг людей. Він, Американець, писав для Американців; але він дав всьому світу книгу, яка кричить про потребу добрих законів для оборони праці.

Сінклер розкаже про долю одної семі переселенців, з Литви, розкаже просто й не химерно, як дитина: пригода за пригодою, з неможливою льогікою життя, або-ж, може, і без неї. З незвичайним мистецтвом малює він окремі події, — і далеко треба оглянутись навкруги серед сучасного письменства, щоб знайти рівний йому талант по силі реальної, дійсної правди.

Молодого американського письменника можна рівняти з великим французьким письменником Золя. Повість Айтона Сінклера внесе в Америці нову течію у той рух обурення і протесту, що високою хвилею підняв ся тепер у країні свободи.

E. Pinner.

I.

Була четверта година, коли скінчився шлюб і почали підїздити карети. За ними увесь час бігла юрба цікавих, яких привабила метушня Марії Берчинської. На її широких плечах лежала вся вага весільних клопотів: їй доручено було доглядати, щоб усе було, як слід, як ведеться звичаями далекої батьківщини. Марія клопоталась увесь день, мов несамоविता, кричала, гукала і поштовхувала всіх, дбаючи, що б усі шанували стародавні звичаї — і так замоталась, що сама раз-у-раз переступала і нехтувала ті звичаї — але на се вже у неї часу і снаги не ставало. З церкви вона вийшла остання, але хотіла перша зявитись у світлицю, що її найнято було для весілля; то-ж і підганяла вона жваво свого візника. Він не дуже зважав на її гукання і Марія не видержала: спустила віконце карети, витріщилась до половини і почала лаятись. Поки вона лаялась своєю рідною, литовською мовою — він мовчав; тоді вона перейшла на польську мову, яку він розумів і він почав відповідати їй лайкою зі своїх високих козлів. Лаялись вони всю дорогу і ся лайка прибавила юрбу вуличників, які бігли по обох боках каретки мало не пів милі. Бачивши се Марія покинула лаятись. Підїхали до будинку, з якого лунала вже музика: дві скрипки та віолончеля; перед дверима стояла юрба цікавих. Марія вийшла з каретки і протиснулась через юрбу у залю. Там, оглядівшись, вона зараз почала давати порядок: юрбу цікавих вона витиснула назад, щоб дати дорогу тим, кого було запрошено і голосно гукала: „ейк, ейк! Уздарик дуріс! (се значить по литовськи: іди, іди! Зачиняй двері!“). А голос її був такий гучний, що заглушав музику.

На таблиці, що була над дверима, стояло написано литовською та англійською мовою, що там продається вино й иньші напитки. Сей трактир стояв у тій часті Чикаго, що зветься: „За-різницями“. Яка гребля — такий і млин, — кажуть люде; яка була часть міста, такий і той трактир. І в таких непоказнім місці переживала хвилини найбільшого щастя свого життя маленька Она Лукошайте — гарненька і ніжна божа істота.

Молодий і молода стояли у дверях по ряд із тіткою Марією, яка важко відсапувала ся після боротьби з натопом

людей. Личко Они було радісне і щасливе, в очах було неначе якесь здивованне, віки трошки премтіли і закрасив її тонке обличчя румянець. Вона була у білій простенькій сукні, а з голови на плечі наміткою спускав ся білий серпанок, завітчаний папіровими рожами з яскраво-зеленими листочками. На руках Они були білі нитяні рукавички і вона нервово скубла їх, а руки її тремтіли. Йї тільки що минуло шіснайцять літ, вона була така маленька, тендітенька — зовсім ще дитина. І отсе вона вже одружена, — те ще з ким! З Юргісом Рудкусом, котрий стоїть тепер ось тут, поруч із нею, з білою квіткою, прип'ятого до чорного сирдута, такий здоровенний і плечистий, з такими дужими руками, як у вельетня.

Вона — білявенька, з блакитними очима, а Юргіс — з карими очима, густими чорними бровами, з чорними кучерями. З поверховного вигляду вони були зовсім не до пари, та дарма: хіба се вадить для щастя подружка? Юргіс міг легко взяти на плечі цілу яловичу тушу в сім пудів і без усякої натуги, навіть не думаючи про вагу, занести її у вагон, але тепер вигляд його був зовсім не показний: він не сміливо тулив ся до стінки, наче заляканий звір, в роті у його пересохло чогось і він на превелику силу міг вимовити скільки слів, коли приятелі підходили здоровити його.

Помаленьку якось удало ся нарешті одділити гостей від цікавих глядачів і трохи зробити простору у світлиці, щоб можна було по ній ходити; а проте у дверях та по кутках товкли ся ще ті цікаві, і як котрий з них підходив ближше або господарям здавало ся, що він голодний — його зараз підводили до стола і частували. Бо такий вже святий звичай литовський на весіллях — щоб ніхто не виходив з господи голодний. Того звичаю не трудно додержати у литовських лісах, але зовсім инше діло з ним у фабричнім кварталі Чікаго, де живе мало не чверть міліона народу; а всеж таки господарі старались по змозі додержатись того батьківського звичаю: і дітей, що забігали з улиці, і навіть собак приймали ласкаво і наділяли хоч шматочком їжи. І всі гості почували себе на тім весіллі, любо, весело і зовсім вільно. Чоловіки сиділи у шапках або, хто хотів — той скидав і шапку, і сурдуть, їв кожний, коли і де хотів, підсїдали до стола і вставали від стола — коли кому було до вподоби. Говорили

промови, співали, а хто не хотів — той не слухав; а як сам захотів співати, або промову сказати — ніхто йому не боронив. Був такий мішаний гомін, що нічого не можна було розібрати, але се нікому не вадило, окріче хіба маленьких дітей, яких тут було стільки, скільки їх мали всі гості: забрали їх усіх на весілле, бо не було з ким лишити їх дома. Для найдрібнішої дівчини призначено було окремих куток і стояли там колисочки і возики і лежало у кожному по троє і по четверо; діти спали або не спали і кричали, як їм до вподоби було. А старшенькі, котрі могли вже ходити і достати руками до стола, товкли ся між дорослими гостями круг стола, обгризали кістки і доїдали шматки ковбаси.

Світлиця була чимала — сажнів по чотири вдовж і впоперек. Побілені стіни були голі, тільки на одній стіні висів календар, малюнок кінського біговиська і таблиця родоводу хазяїв хати у золотій рамі. Праворуч були двері у пивний трактир і звидтіля заглядало скільки чоловіка цікавих; а за дверима у кутку був прилавок і за ним стояв чорнявий, вусатий чоловік у не дуже білім і не дуже чистім фартусі. Він шинкував пивом.

А навпроти стояли два великі столи, що займали третину кімнати; на них було наставлено мисок з холодним печеним мясом. Гості підходили і закусували. На тім місці, що було для молодих, стояв на столі великий весільний коровай, завітчаний рожами, з двома цукровими янголами на верху. Геть у кінці світлиці були відчинені двері у кухню, де у хмарах пари шугало кілька жіночих постатей. У лівім кутку на невисоких підмостках сиділо троє музиків і напружували всі свої сили, щоб заглушити музикою гомін людських голосів. Діти, зо свого боку, старались перекричати музику, а цікава юрба перла ся у вікна і двері, любуючи тим видовиськом.

Втім із хмар пари, що наповняла кухню, виступила жінка, держучи високо в руках полумисок з печеною качкою. Се була мачуха Они; звали її всі „тітка Елізбета“; за нею йшла, обережно ступаючи, Катерина і несла другу качку на полумиску; трохи згодом за ними вийшла маленька бабуся Маюшкіне з величезною мискою вареної картоплі; жовта миска була завбільшки мало не така, як сама бабуся. Потім подали на стіл свинину з капустою, варений риж, макарони, болонську ковбасу, цілу копицю булок, пряжене молоко

і кухлі з пивом. Так той розкішний бенкет ставав чим раз бучнійший; всякий, хто хотів, підходив, їв і пив — що йому було до вподоби — і нічого не платив. А Марія Берчинська припрошувала гостей: „ейкс! граціан!“ (ідіть же! швидше!), іла сама, щоб заохотити їх і сміючись говорила, що у кухні є ще багато де-чого і треба все зїсти, щоб марно не пропадало.

В сам-перед посадили молодих. Юргіс соромився, але старі підштовхували його і він сів праворуч молоді; потім посідали дружки у вінках з паперових квіток, за ними приступила й молодь, що була збила ся купкою по під дверима; попросили до столу й шинкаря, що наливав пиво за прилавком; присів край стола і грубий поліцейський, якого назначено було сюди, щоб розбороняти бійки під кінець весілля. Діти кричали, ті що були в колисках — вищали, гості голосно гомоніли, сміялись, співали, а над усіма голосами видавав ся голос тітки Марії, яка заохочувала музиків, щоб грали веселійше. А вони й так старались з усієї сили, грали — мов несамовиті, аж волоссе їм позлипалось на лобі і очі рогом лізли.

Перша скрипка був Тамошіус Кушлейка, маленький, худенький чоловічок, самоучка. Він цілий день робив на різницях, а вечерами грав на скрипку. Тепер він скинув сурдут, щоб зручнійше було грати; на нїм була біла камзелька, гаптована золотими підківками, рожева сорочка у смужках і світло-сині саддатецькі штани, такі короткі, що не доставали йому до кісточок. Грав він страшенно завзято і немилосердно фальшиво; здавало ся, що грали всі частини його тіла: і маленькі очі, і зморщене лице, і губи; і головою хитав він, і всім тілом вихиляв ся на всі боки, і ногами тупотів.

Не такі завзяті музики були його товариші. Друга скрипка, Словак, був високий, огрядний чоловік в окулярах у чорній оправі. Він грав зовсім байдуже, неначе та зморена коняка, яку вже й батіг не бере. Третій, гладкий, череватий, з грубим червоним носом, грав на віольончелю замість баса. Він поводив очі в гору і, не вважаючи на своїх товаришів, незмінно тягнув одну протяжну ноту від четвертої години дня до четвертої в ночі і брав за се третину заробітку цілої оркестри, по доляру за годину.

Дарма, що скрипка Тамошіуса шишла на низьких нотах і вищала немилосердно на високих, дарма, що був гомін, і гармидер, і душно, і чадно — кості залюбки слухали ту музику; деякі з них заплющували очі і задумувались. Ся музика нагадувала їм далеку, покинуту батьківщину — се була їх рідна музика: за нею забували вони на короткий час Чікаго з його різницями, брудними й смердячими, з його трактирами та іншими нетрями на передмістях; ся музика дивними чарами переносила їх з чадного пивного трактира геть у далекі поля і ниви рідного краю; вони бачили свої столітні ліси і блискучі річки, згадували свої дитячі літа, радощі і любов, турботи і злидні, що вигнали їх у ту далеку чужу країну...

Дехто з гостей просив Тамошіуса заграти стару литовську народню пісню. У Тамошіуса розпалились очі — він махнув смичком своїм товаришам і заграв ту пісню. Усі гуртом почали приспівувати, стараючись перекричати один одного. І довго так співали вони, аж поки деякі похрипли. Потім Тамошіус заграв литовську весільну пісню і, злізши з підмошків, почав просовуватись поміж гостей до того місця, де сиділи молоді. У тісноті маленькому скрипачеві не трудно було просунутись; але як потягнулись за ним товариші, то череватий віольончеліст застряг між стільцями і мусів перестати грати, щоб пробитись далі. Нарешті всі трое станули коло молодої; Тамошіус став праворуч і заграв так, неначе всю душу свою вклав у той спів.

Серце маленької Они обняв такий жаль і смуток, що вона не могла нічого їсти; вона сиділа задумавшись і затопивши у даль свої здивовані, наче перелякані очі, що були повні сліз, мов зачудована; тітка Марія штовхала її під лікоть, припрошуючи зісти що небудь, тітка Елізбета, як метелик кружила коло неї, сестри і дружки підбігали до неї і шептали їй щось на вухо — але вона, мабуть, не чула їх і не розуміла; вона соромилась витерти сліози і вони бігли їй по виду; притиснувши рукою серце, вона обернулася до Юргіса, зустріла його погляд і так засоромилась, спалахнувши румянцем, що хотіла встати, бігти, втікати кудись...

Скінчили грати весільну пісню і тітка Марія почала свою улюблену пісню про несчасне кохання. Сеї пісні музики не знали грати; вони почали пробувати пригравати за

тїткою Марією, але нїяк не могли потрапити в тон. Марія Берчинська була жінка невисока на зріст, але дужа і кремезна. Вона служила на різницях у тїм відділі, де роблять мясні консерви і цілий день вертіла в руках бляшанки з консервами, що важили по чотирнадцять фунтів. Лице її було славянське — широке, червоне; одягалась вона у синю фланельову юбку, міцні, гдадкі руки її були заголені по лікті.

Співала вона голосно, вибиваючи такт ложкою по столі і ніхто не здужав-би перекричати її.

Коли переспівала тїтка Марія свою пісню, гості трошки передихнули і почали ся промови.

Перший встав і почав говорити дїд Антон, Юргісів батько. Антонови Рудкусови було не білш, як шістьдесят літ, але виглядав він на вісімдесят. В Америці він жив тільки півроку. У ріднім краю він довго служив на ткацькій фабриці, але мусів покинути сю роботу, бо дуже кашель його дупшив.

Поживши у селі на чистім повітрі він поправив ся був трошки. Але біда загнала його в Америку і він поступив на фабрику консервів Дургема; довело ся йому працювати у відділі пікулїв, цілий день стояти у холодних і високих сутережах — тай знов погіршало йому. І тепер, як тільки він устав, щоб говорити промову, напав його той кашель і довго мучив; аж посинїв старий, поки відкашляв ся і віддихав.

Дїда Антона вважали всі за людину вчену; йому і листи доручали писати. І промови говорив він гарно. Навіть діти, що досі гуляли і пустували, замовкли і підійшли ближше, щоб слухати, а жінки плакали, утираючи сльози фартухами. Антон Рудкус говорив сумно, наче прощаючись зо своїми близькими; він казав, що недовго вже проживе коло своїх дітей. Всїх зворушила ся промова, сумна і безнадійна, аж не видержав один з гостей, Якуб Шедвіла, що держав харчову крамницю на Гольстет-Стріті, добродушний товстун: він встав і почав говорити, що житте людське не таке вже сумне і бувають в нїм иноді й радісні хвилини; потім він здоровив молодих, бажав їм щастя і всякого добра і договорив ся до таких подробиць, що молодь почала весело усьміхатись, а Она ще більше почервонїла і не знала, куди очі подїти. У Якуба, як говорила його жінка, була дуже палка фантазія.

Гості, наївшись, почали вже вставати від стола. Де-хто підходив до прилавка і пив пиво; инші похажали по світлиці,

розмовляючи і сміючись; де-які, зібравшись купкою, починали співати, не вважаючи на те, що співали інші гуртки і що грала музика. Але видно було, що всі дожидали ся ще чогось. Так воно й стало ся.

Як тільки гості всі повставали од мисок, зараз зо столів поприймали посуду, столи і стільці позсовували в купки, прийняли з дороги дітей і почала ся друга частина весілля—танці.

Тамошіус Кушлейка, підкрепившись цілим кухлем пива, вернув ся на підмостки і, постукавши смичком по скрипці, почав грати вальса. Грав він, вкладаючи в ту гру всю свою душу; друга скрипка піддержувала його і Словак не спускав очей з Тамошіуса, щоб поспівати за ним, а віольончеліст, постукавши разів скілька ногою, щоб зловити лад, взяв свою єдину ноту і, затопивши очі у стелю, потягнув її невпинно. Гості, взявшись парами, почали крутитись по світлиці. Танцювати вальса ніхто з гостей не вмів і танцював кожний на свій лад, так само, як попередю співав кожний свою пісню. Одні танцювали „на два па“, другі на три, а інші придумували щось зовсім окреме, сказав би: свій власний танок.

До таких належав товстун Якуб Шедвіла і його така ж само гладка жінка Люція. У-двох вони зідали в день мало не стільки харчів, скільки продавали всім покупцям у своїй крамниці. Танцювати і крутитись їм було важко; то-ж вони стояли, обнявшись, посеред світлиці і тільки похитувались в один бік і у другий, щасливо усміхаючись.

Одежа гостей була ріжноманітна. Де-хто старійший носив ще стародавню литовську одягу: химерно гаптовані камзельки, лейбики з широкою обшивкою по краях і зо стародавніми великими гудзиками. Але молоді всі вже одягались по американській моді, як городяне.

Танцювали — як хто хотів: одна пара обнявшись тісно, друга здалеку одно від одного; одні кружляли по світлиці, як божевільні, зачіпаючи, поштовхуючи і збиваючи людей, другі — обережно і поважно, покрикуючи на інших: „нусток! нас іра?“ (схаменись! Що-ж се буде?).

Пари еднали ся на цілий вечір. Так наприклад Олена Язайтіте танцювала скілька годин безупину з Юзасом Рачіусом; вони вже були заручені. Вона була найкраща за всіх дівчат на весіллю, але її не дуже любили, бо була горда. Вона була

у білій кофточці, за яку, мабуть, недешево заплатила, а спідницю свою придержувала рукою точнісінько так, як держать великосвітські пані. Юзас, її наречений, розвозив по крамницях товари з фабрики Дургема і платили йому добре.

Він був дуже франтовитий хлопець; танцював у шапці, збивши її на бакир і увесь час курих цигарку. У другий парі танцює Ядвіга Марцінкус з Міколасом. Вона також дуже гожа дівчина, тільки не така горда, як Олена. Вона служить на фабриці: розмальовує бляшанки для консервів; одягаєть ся просто, бо не може витратити заробітку на кофточки: своїм заробітком вона годує хвору матір і трьох маленьких сестер; на ній біла, проста одежина, що стала вже й вузька, і коротка на неї, бо Ядвіга вже п'ять літ одягає її на всі весілля і вечерниці, але дівчині се байдуже і вона щиро собі веселить ся. Ядвіга маленька, ніжна, чорнява і кароока, а її наречений Міколас — здоровенний, дужий велетень; у танці здаєть ся немов Ядвіга пришпилена, як квіточка до того велетня: вона похилила йому на груди свою гарну головку, а він обняв своєю дужою рукою її тонкий стан, притиснув її до себе, неначе хоче кудись її занести. Так вони танцюють увесь вечір, раді і щасливі. Вже п'ять літ, як вони кохають ся і заручились, але не можуть одружити ся, бо у Міколаса батько п'яниця — і він мусить годувати всю сімю. Може й могли-б вони одружитись, бо Міколас був робітник добрий і заробляв багато, та раз-у-раз ставали йому перешкодою нещасні пригоди. Міколас служив на різницях; він очищав кости від мяса і робив се так швидко і проворно, що всі аж дивувались. Платили йому не поденно, а від штуки, то й поспішав він у роботі і трапляло ся йому не раз порізати собі руки.

Рана, хоч-би й велика, — не біда у молодого та здорового, загойть ся швидко; але біда в тім, що від несвіжого мяса заражала ся кров у тих ранах: за останніх три роки Міколас двічі мало не вмер; раз він пролежав у лікарні три місяці, а другий раз аж сім.

За той час хвороби він втрачав свою службу і мусів потім, видужавши по тижнів шість вистоювати перед дверима фабричної контори, на морозі, від шостої години вранці, дожидаючись роботи. Статистика показує, що такі робітники.

як Міколас, заробляють найбільше, але, на жаль, статистика не покаже, скільки їх помірає або калік робить ся.

Довго танцювали так гості, не спиняючись для спочинку, а Тамошіус грав чим-раз швидше і чим раз гострійше вищали на високих нотах нещасні струни його скрипки; у шаленім вальсі крутились пари, мов несамовиті. Нарешті скінчив скрипач ту шалену гру, а сам аж тремтів увесь; гості тільки тепер почули втому і поставали, відсапуючи і слідве держучись на ногах, по під стінами: сісти було нікуда, бо стільці всі були поприймані. Спочиваючи, гості пили пиво; частували пивом і музиків. І гості, і музики спочивали, збираючи сили для найважнійшої частини весілля — „ач'явімас“: се мав бути танець, що тягнув ся без-упину три—чотири години. Побравшись за руки гості ставали в коло, а по середині стояла молода і кожний з чоловіків по черзі виходив з кола і танцював із нею; сей танець міг тягнутись скільки вгодно, серед загального реготу і жартів. Коли гість перетанцював уже з молодю, до його підходила хазяйка — на сей раз се була тітка Елісбета — з шапкою в руці і гість клав туди гроші: доляр, два або й п'ять, — який у кого був достаток і як хто хотів оддячити за честь, що танцював із молодю. Се була плата за частування; а хто був приятний до молодих, той старав ся дати більше, щоб їм дещо лишило ся на хазяйство на перший час.

Видатки на весілле були дуже великі. Весілле Они і Юргіса коштувало не менше двох-сот, а може й до трьох-сот долярів, а такі гроші не всякий з гостей міг-би заробити за цілий рік.

Ті люде працювали цілий день від ранку до вечера, иноді у темних і вохких сутеренах; де-які з них бачили сонце тільки раз у тиждень, у неділю, — та й ті не могли заробити триста долярів у рік. Поміж гостями були й діти, що служили вже на фабриках; батьки додавали їм літ, щоб їх приймали на роботу; вони не заробляли й половини, навіть третини сеї суми.

А проте весілле коштувало таких великих грошей, і витрачались вони в один однісенький день... Для багатьох тих робітників се був може єдиний щасливий день за все житте; та й міркували ті люде, що однаково вийде: чи витратити такі великі гроші відразу на своє власне весілле, чи

видавати їх частинами, потрошки, на весілля своїх друзів. Останнє навіть лекше було на кишеню. Де-кому і се навіть важко було, але ті бідні люде терпіли таку гірку долю, що хоч де-коли хотілось їм хоч на час забути її. Ті люде, покинувши батьківщину, зрікли ся всього, що було їм рідне, що нагадувало їм їх далекий край; не могли зрікти ся вони тільки того стародавнього прадідівського звичаю — гучно і пишно святкувати весілля. Вони могли покоритись тяжкій недолі, жити у темних сутеренах, мов у каторжній роботі, але не хотіли коритись до останку: хоч один день у нужденім житті вони хотіли прожити панами, скинути кайдани, вільно розмахнути крилами, піднятись високо і глянути на сонце; забути всі клопоти й страхи і погуляти вільно, без журби, випити відразу всі радощі життя. Попанувавши той день, людина могла вернутись у темні сутерени, до каторжної роботи і жити вже згадками про ту щасливу хвилину, коли вона була неначе справді людиною...

Гості танцювали, кружляючи по світлиці; де-кому аж голова закручувалась, — тоді він „відкручував“ її, кружляючи на другій бік. Так гуляли кілька годин. Уже стемніло і в залі засвітили дві лампки, що коптіли, але мало світили. Музики потомились і запал їх пропав: вони, куняючи, повторювали безліч разів один і той самий уступ, а де-коли й зовсім переставали, бо сили вже не було. Вже й товстун-поліцейський заснув за дверима. Тільки одна Марія Берчинська не підавала ся втомі. На неї неначе щось найшло. Вона з самого ранку метушилась, хазяйнувала, а тепер її аж страх брав, що все має незабаром скінчити ся. Вона бажала б, щоб час спинив ся і щоб сі щасливі хвилини не минали; вона кричала на музиків, щоб грали охотнійше і просила поморених гостей, щоб не переставали танцювати. Сама вона танцювала, дуже завзято поштовхуючи інші пари. Якось штовхнула вона, мало не задавивши, маленького Севастяна, сина Шедвілі. Дитина впала і почала плакати. Марія, що була дуже добра і жалісна жінка, вхопила хлопчика на руки, понесла до прилавка і дала йому випити німецького пива. Тою запинкою скористувались музики, перестали грати і самі пішли пити пиво.

Тим часом у другім кутку світлиці тітка Елісбета, дід Антон і ще скільки чоловіка їх приятелів про щось радились, дуже затурбовані.

Вони справили весілля рахуючи на те, що гості допоможуть їм оплатитись — так воно вело ся стародавним литовським звичаєм. Кожен з гостей і сам добре тямив, скільки він повинен дати, а де-які, звичайно, давали й більше, щоб лишило ся де-що й для молодих на перший час. Але тут, у тій чужій країні, починав уже міняти ся той останій прадідівський звичай. Молодші люде, забувши сором і честь, нахабно ламали його. Вони поприходили, частувались — їли й пили, скільки хотіли, гуляли, танцювали, а тепер почали щезати, нічого не заплативши, з хитрощами або й просто так. Один, наприклад, викинув через вікно шапку свого товариша і обидва побігли підіймати її, тай вже не вернулись. Інші виходили зовсім нахабно, дивлячись господарям в очі та ще других за собою тягнули; інші, ще нахабнійші, йшли попереду до прилавка і обпивались пива на кошт хазяїв і тоді вже виходили.

Хазяїв се тяжко кривдило і обурювало. Стільки праці, клопотів і видатків, а мало хто поміг їм покрити їх. Бідна Она стояла коло мачухи, широко відкривши перелякані очі. Їй давно вже тривожила думка про страшенні весільні видатки. Пятнайцять долярів за світлицю, двадцять два з половиною за качок, дванадцять музикам, пять за церкву та ще окремо за благословення Божої Матері; та се ще не все: найголовніша річ — рахунок Грайчуна за пиво і горілку. Всякий шинкар спершу дає тільки приблизний рахунок; а як доходить діло до розплати — він чухає потилицю і каже, що помилив ся, подає куди-більший рахунок, але за те каже, що догодив гостям і вони розійшли ся п'янісенькі. І потім він неодмінно обшахрує: цідить пиво з початої бочки, а у рахунок ставить повну і замість умовленої доброї горілки дає якусь погану сивуху, а гроші лупить добрі. Позиватись з ним — даремна річ: усякий шинкар уміє вибредхатись і начальство на свій бік нахилити.

Через тих безсоромних гостей, що втекли, не заплативши свого пайка, була кривда і тим гостям, що поводитись по людськи і заплатили, як слід або й більше. Старий Якуб Шедвіла дав пять долярів, а знали всі, що він позичив гроші під застав своєї крамниці, щоб оплатити комірне. Знов старенька Анеля, вдова з трьома дітьми, хвора на лому́ту: вона прачка і так дешево бере за пранне, що аж слухати жаль;

однак і вона віддала весь дохід від своїх курей за скільки місяців. Вона держала їх восьмеро у маленькій комірці під сходами; цілісенний день її діти нишпорили по смітниках, шукаючи корму для тих курей, бо на дворі не можна було держати птицю. Іноді дідтей гнали дужчі діти, що за тим самим розгрібали смітники і тоді стара Анеля вступалась за своїх дітей і обгризала ся з сусідами.

Не можна словами вимовить, яку ціну мали для старої ті кури: їй здавало ся, що дохід з курей приходить їй дурно і що ніби таким способом вона повертає собі з людей кривду за те, що сама працює на людей за пів-дарма. Колись давно були вкрали у неї одну курку і з тої пори вона стерегла їх і в день, і в ночі; не проходило такої ночі, щоб вона по скільки разів не встала довідатись до своїх курей, бо причувало ся їй, що до них злодій добіраєть ся. Можна ж собі уявити, яку велику жертву зробила стара Анеля, віддавши дохід з проданих яєць за скільки місяців.

Коло заклопотаних хазяїв зібрались де-які гості, котрі розуміли, про що вони шепчуть ся.

Підходили де-які і з тих, що нарobili господарям того клопоту і нахабно старали ся підслухати розмову. Підійшов і Юргіс; довідавшись про прикру подію, він насупив свої густі брови, а руки йому свербіли, щоб подякувать кулаками тим нахабним поганцям. Але він здержав себе, бо з такого бешкету однаково ніякісеннього добра не вийшло б. І він спокійно сказав тітці Елісбеті, що плакати не варто, бо слізьми однаково справи не полагодиють; заспокоїв він і Ону:

— Нічого, моя маленька, не журись, — сказав він тихо. Ми за все заплатимо. Я буду більше робити. Так завжди говорив Юргіс у трудні хвилини життя. Те саме сказав він у ріднім краї, на Литві, коли один чиновник забрав його паспорт, а другий посадив його у тюрму за те, що він був без паспорта, а гроші, що були при нім, вони забрали і поділили проміж себе. Ті самі слова сказав він і в Нью-Йорці, коли їх немилосердно обібрав і обдував агент, що водить переселенців. Тепер він сказав ті слова у трете.

У Они аж дух зайняв ся в грудях: вона, така молода й маленька, має такого чоловіка, як усі великі жінки! Та ще такого дужого чоловіка, що все йому байдуже.

Маленький Севастян перестав плакати, музики почали знов грати і знов почав ся танець з молодю, але тепер танцювали так мляво, що не було вже ніякої надії зібрати більше грошей. Гості вже потомились, а деякі були п'яні і не могли вже танцювати, а так собі похажали по світлиці, сідали парами по кутках, інші співали, сперечались або й сварка навіть починалась. Товстун поліцейський, перекунявши трохи, тепер стрепенув ся і уважно оглядав ся, стискаючи в руках свою грубу палицю. Після півночі здебільшого починались бійки і коли, бувало, їх не спинити з самого початку, то розпалались вони, мов пожар, і трудно було тоді втихомирити їх: треба бувало скликати на підмогу всю сусідню поліцію. Тому то поліцейський наставив ся і держав на готові палицю; бо, міркував він, краще спочатку розбити одну п'яну голову, ніж потім їх має бути розбито десять. Тут, поза різницями, на розбиті голови не дуже вважали: тут люде так уже звикли цілий день розбивати голови скотині, що не трудно їм було робити те саме й людам.

Але на с'ім весіллі бійки не було; про се дбав Юргіс ще більше за поліцейського, хоч і сам випив він чимало — бо однаково ж треба платити шинкареви, чи лишить ся, чи ні; але в Юргіса була дуже міцна голова і скільки б він не випив, він ніколи не пропивав розуму. Раз тільки Марія Берчинська, що була добре п'яна, полізла на вкучачки битись з одним із гостей, що наставив ся втікати, не заплативши грошей; але її зараз спинили.

Була вже третя година по пів ночі. Пробували ще танцювати інші танці, але не сила вже була: і музики грали мляво, куняючи, і гості всі вже виснажились до останку, і випито вже було стільки, що далі нікуди. Але ніхто не міг наважитись сказати, що вже годі, дарма, що всі гості мусіли в с'ім годин ранку стояти вже на роботі у різницях на фабриках консервів Дургема, Броуна або Джонса; коли хто опізняв ся хоч на скільки хвилин — йому скидали платні за цілу годину, а хто не приходив зовсім, той втрачав зовсім роботу і мусів тоді вистоявати під ворітьми фабрики у юрбі голодних безробітних від шостої до девятої години, дожидаючись, чи не трапить ся якої роботи; а роботи не бувало іноді й по скільки тижнів.

Навіть Онї не дали отпуску на один день, хоч як вона

просила: фабриканти не вважають на потреби робітників, особливо, коли під ворітьми завжди стоїть юрба голодних, готових на всяку роботу.

Бідна Она аж зомліла від духоти та того п'яного чаду. Багато гостей вже спало на стільцях, спершись на столи або й долі, під столами; від них тхнуло таким важким духом випитої горілки і пива, що ніяк не можна було повернутись до них. Юргіс поїдав жінку очима, а вона вже не могла встояти на ногах і тремтіла, бліда, як стінка. Тоді він, не вважаючи на гостей, одягнув її у хустку, у пальто, щоб іти до дому: вони жили недалечко. Вони майже ні з ким не простились, бо гості вже й на них не вважали. Дід Антон вже спав, спав і Якуб Шедвіла і його жінка, аж голосно хропли. Тітка Елісбета і Марія сиділи вкупі і гірко плакали. Она не могла йти. Юргіс мовчки взяв її на свої дужі руки, мов дитину; вона схилила голову йому на плече і він не міг розібрати: чи спить вона, чи зомліла.

Ніч була на дворі, тихо; тільки на схід-сонця вже поблідли зорі і небо було світліше.

Юргіс доніс Ону до дому; коли він, держачи її одною рукою, другою почав одчиняти двері, вона прокинулася і відкрила очі.

— Ти не підеш завтра на роботу, моя маленька, — сказав він, підіймаючись по сходах.

Але вона з жахом ухопила його за руку і промовила:

— Ой ні, не можна, — треба йти: у нас стільки довгу!

Але Юргіс рішуче сказав:

— Не бійся я все полагожу. У мене будуть гроші; я буду більше працювати — от і все.

II.

Юргіс говорив так безжурно про роботу, бо був ще молодий. Товариші розказували йому такі страхи, що аж мороз по-за шкуру йшов, про тих людей, які через хворобу або каліцтво стали неробочі і як вони пропадали з голоду і нужди, але Юргіс тільки всміхався собі. Він прожив в Америці тільки чотири місяці, а був молодий і дужий то й не міг ніяк собі уявити, як-би се він пропав з голоду. Він був простий селянський паробок і такий роботящий, що хазяї

дуже його любили і раз-у-раз жалкували, що таких робітників мало. І проворний був: як пошлють його, було, куди — бігцем побіжить і у-мить вернетъ ся, справивши діло.

У роботі він завжди йшов попереду других і раз-у-раз мусів спинятись, щоб вони його догнали.

То й не диво, що, приїхавши у Чикаго, він на другий таки день знайшов собі роботу на фабриці Броуна, дарма, що біля воріт тої фабрики стояла велика юрба безробітних, з яких де котрі марно дожидали ся роботи по скілька місяців. І Юргіс запишав ся так, що почав кепкувати з тих безробітних.

— Який се народ! — казав він. — Се якісь заморені недотепи, ні на-що не здатні, або може п'яниці. Невже ви думаєте, що з такими руками, як у мене — і він стискав свої дужі кулаки — можна пропасти на світі?

— Бо ти приїхав із глухого села, — говорили йому, — і не знаєш, що таке велике місто.

Юргіс справді у-перше побачив великі міста тільки тоді, коли погнав ся шукати щастя на чужину, щоб оженитись з Оною. Його батько і дід, і прадід жили у Біловіжській Пущі. Там на сотні тисяч десятин віковичного ліса, було дуже мало людських селищ. Один з тих небагатьох селян був Юргісів батько Антон Рудкус. У його чотири десятини пісковатої землі, з якої не могла прокормитись сім'я. У Антона було два сини і дочка. Старшого сина взяли у москалі і він десь загинув, що й звісточки не було літ із десять. Дочку Антон віддав заміж, відступив зятеви свою землю, а сам з Юргісом помандрував світ за очі шукати кращої долі.

Юргіс побачив Ону на ярмарку у містечку — далеко миль за п'ятнадцять від їх села. Досі він і не думав женитись і навіть кепкував собі з інших парубків, коли вони думали одружитись. Але, побачивши Ону і навіть не познайомившись із нею добре, він так уподобав її, що непереможно захотів сватати. Старий Антон одмовляв його, бо ні-на-чім було-б їм і хазяйство своє завести, але Юргіс так забрав собі в голову ту дівчину, що нарешті послали до неї старостів. Але Онин батько старостів не прийняв: одно — що він був чоловік заможний і не хотів оддавати дочку за аби-кого, а друге — що Она була ще дуже молода.

Юргіс вельми засмутив ся. Він завзято робив ціле літо, щоб заробити грошей, а на осін, як скінчили ся вже всі ро-

боти в полі, його взяла така нудьга за серце, що він пішов пішки у те далеке село, аби хоч тільки побачити дівчину.

Тим часом у сім'ї Они стали ся великі переміни: батько її вмер, а землю їх забрали за довги.

Серце Юргіса радісно забило ся: тепер уже не було перешкод, щоб сватати дівчину. Сімя Они була велика: мачуха Елісбета — Она звала її тіткою, — шестеро малих дітей і брат Они Іонас; він був худий, невеликий на зріст, а служив на фабриці.

Она була дівчина розумна, знала читати й писати і багато де-чого знала такого, про що Юргіс, проживши весь вік у глухій пущі, зроду не чував.

Скрутно стало жити тій сім'ї після смерти батька.

Она могла-б тепер вийти заміж і піти собі з дому, але вона любила мачуху, тітку Елісбету і не хотіла покидати її в біді, з малими дітьми.

Іонас перший подав думку переселитись усім в Америку; він мав там знайомого, який вже встиг розбагатіти і був певний, що й їм там буде краще жити. І Юргіс чув від людей, що в Америці можна заробити й по три рублі в день, а надто — там усі рівні: і бідні, і багаті: там воля, там не беруть у солдати і чиновникам не треба платити хабарів.

Юргіс дуже палко піддержував сю думку: він мав надію, що в Америці він швидше заробить грошей і швидше зможе одружити ся з Оною.

Порішили на весну мандрувати в Америку, а тим часом треба було придбати грошей на дорогу.

У сім'ї Они могло зібрати ся карбованців скільки сот, коли б вони продали хату і худобу, а Юргіс найняв ся до підрядчика на будівлю залізниці аж під Смоленськ. Робота була там дуже тяжка, харчі погані, жили у землянках, мокли і мерзли. Але Юргіс усе витерпів і до весни заробив вісімдесять карбованців. Увесь час він шанував ся, горілки не пив, бо все думав про Ону. Запивши ті гроші у полу піджака він вернув ся до дому, стережучись і обминаючи дорогою всякі непевні місця, щоб не обікрали або не ограбували його.

По весні спродались вони, зібрались і помандрували в Америку. У компанію до них пристала ще Марія Берчинська, родичка Они; вона була сирота і з малих літ служила

на фермі коло Вільни; тяжко їй там жило ся і хазяїн мало не що дня бив її; тільки як минуло їй двадцять літ, вона попробувала своєї сили і сама побила хазяїна.

Таким чином поїхало їх в Америку дванадцяттеро: п'ятеро старших, шестеро дітей та Она, яку не знали до кого залічити: до дітей чи до старших.

Вже дорогою вскочили вони у біду: взяв ся їм допомагати агент, а виявилось потім, що се був шахрай і пройдисвіт і дуже він їх обдурив. У Нью-Йорці знов скоїло ся їм лихо: приїхавши у те велике чуже місто, вони не знали, куди ступити, як повернутись. На пристані вони звернулись до якогось чоловіка у синім мундирі з блискучими гудзиками; він заговорив до них по литовськи і вони дуже зраділи; отсей чоловік завів їх у якусь гостинницю, — а потім здерли там з них таку ціну, що аж душно їм стало. Правда, на дверях була прибита такса, як того закон вимагає, але... нема такого закону, щоб в Америці ту таксу писали по литовськи.

Приятель Іонаса розбогатів на торгівлі консервами у Чикаго і тому вся сім'я переселенців задумала поїхати туди. Вони знали тільки одно слово: „Чикаго“ і з тим одним словом доїхали як-раз, куди їм треба було.

Опинившись у тім великім місті вони не знали, куди подітись далі і ходили, безпомісні, по велелюдних улицах, не знаючи кого і про що питати. Найбільше боялись вони тепер людей у мундирах і, побачивши таку людину, зараз переходили на другий бік улиці. Так тинялись вони, тягаючи і потомлених дітей за собою, цілісенький день, а у вечорі забрала їх поліція потомлених і знеможених, і помістила на ніч в участок.

На другий день знайшов ся толмач, що розумів литовську мову і міг розпитати їх, кого вони шукають. Сяк так допитавшись, — посадили їх у вагон електричного трамвая, сказали їм одно слово по англійськи: „різниця“ і з тим пустили. Наші переселенці були дуже раді, що на сей раз обійшло ся їм без великих видатків.

Сівши у вагон трамвая вони почали дивитись у вікна. Перед їх очима довгою низкою тягнулись по обидві сторони одноманітні дерев'яні двуповерхі доми; вулиця тягнулась довга, без кінця довга; вони не знали тоді, що довжина її аж п'ятдесят одна верства. Від сеї вулиці йшли бокові, такі

самі одноманітні, з такими самими сірими двоповерхими домами. Ні горбочка, ні деревини, ні садка... Іноді переїздили вони мостами через кальні, каламутні річки з нужденними, облупленими хижками і повітками по берегах, або через цілу сітку рельсів залізниці. Де-не-де траплялись фабрики — понурі, чорні, з безліччю вікон, з високими коминами, а чорний дим з них застеляв і коптив усе навкруги. Потім знов починав ся довгий ряд одностайних понурих будинків.

Ще коли доїздили переселенці до Чикаго — примітили вони якусь перемену у повітрі: все ставало темнійше і чорнійше — не тільки будинки, але й дерева, і трава — все було брудне, миршаве; а надто був у повітрі якийсь прикрий гострий дух. Людям, що не звикли, — сей дух був нестерпимий. Тепер, їдучи у вагоні трамвая, вони зрозуміли, що наближають ся саме до того місця, з якого йде той поганий дух: де далі він ставав гострійший і прикрийший, але вони ніяк не могли додуматись, з чого він береть ся. Де які люде не могли видержати того духу і затуляли собі носи хустками. Нарешті вагон трамвая спинив ся і кондуктор, одчинивши двері, крикнув: „різниці!“

Литовські переселенці опинились на вулиці і почали оглядатись. По обидві сторони тягнулись дві вулиці такі самі, як та, що вони нею так довго їхали, а по середині стояв великий цегляний будинок з високими коминами, з яких садив густий чорний дим; той дим хмарами підіймав ся до неба і чорною плащаницею застеляв увесь небозвід.

Опріче того, що бачили очі і почував ніс, ще в уха настирливо ліз якийсь мішаний гомін, що відразу трудно було розібрати його. Аж прислухавшись довго можна було доміркуватись, що се гомінь величезної сили худоби: товаричого реву, хрюкання та зойку свиней.

Переселенці стояли і прислухались до того гомону, але не мали часу розібрати, звідкіля він іде, бо примітили, що звернув на них свою увагу поліцейський, що стояв недалеко від них. А що він був у мундирі з гудзиками, то вони поспішили перейти на другий бік улиці. Втім Іонас радісно скрикнув і вскочив у крамницю, біля якої вони спинились; на таблиці, що була над дверима, стояло: „Я. Шедвіла. Гастрономія“. Через хвилину він вийшов, а за ним гладкий, череватий чоловік без сурдута, у фартусі. Обидва були раді

й веселі. Тепер тільки тітка Елісбета згадала, що Шедвіла був той приятель Іонаса, якому так пощастило в Америці. Зрадїли бідні мандрівці не помалу, знайшовши нарешті свою людину, земляка; а надто: той земляк торгував харчами, — всі-ж вони були дуже голодні, бо з самого ранку ще нічого не їли, а діти почали вже хнюпати з голоду. Такий був щасливий кінець нещасної мандрівки. Якуб дуже зрадїв, побачивши земляків; він привітав їх щирим серцем; не минуло й пів-години, як вони вже сидїли у його в господі, нагородвані і він почав розказувати їм про американське життя і навчати, як їм треба поводитись та що робити, починаючи нове життя.

В сам-перед він порадив їх найняти собі квартиру у пані Анелі, що жила поблизу, навпроти його крамниці і брала до себе пожилців у підсусідки.

— У старій Анелі Юкнін, — казав він, — великої вигоди не буде, але на перший час нічого кращого придумати не можна.

Тітка Елісбета сказала, що тепер для них найважнїша річ — щоб дешево життя коштувало, бо її аж страх брав, скільки вже пішло у них грошей. Хоч в Америці добре платять за роботу, але тут страшенно дорого коштує прожиток і, мабуть, бідні люде, що заробітку не мають, нігде не терплять такої тяжкої нужди, як тут. Юргісови мрії про багатство розвіялись одразу, як дим. А що було для них тепер найгірше і найстрашнїше, так те, що вони мусїли тут витратити на прожиток по американських цінах ті гроші, які заробили там, у батьківщині, по європейських цінах. За останні дні вони майже нічого не їли, так їх страхала нечувана дорожня харчів на залїзницях.

Жахнулись вони й тоді, як попали на квартиру пані Анелі; такого барлогу їм ще не трапляло ся за весь час їх подорожи. У пані Анелі була квартира з чотирьох кімнат в однім з тих двуповерхих домів, що заповняли увесь той фабричний квартал. У кожнім домі було по чотири таких квартири з чотирьох кімнат кожна. Наймала таку квартиру яканебудь людина і вже від себе віддавала кімнати на-різно пожилцям, або-ж робочі люде гуртом, спількою наймали собі таку квартиру. І жило у кожній кімнаті чоловіка по шестеро, а иноді й по дванадцятеро або й більше; траплялось в одній

такій квартирі до копи народу; кожний мав свою постіль, що лежала просто на долівці — більше ніяких меблів у хаті не було. Бувало, що одна постіль служила на двох: один робив у-ночі, а спав у-день.

Хазяйка квартирі, пані Анеля Юкнін була старенька, мала, бліда, і зморщена жінка. Квартиря її була така брудна, як нігде; надто, опріче людей, вона держала ще у сінях під сходами курей; для них вона зробила з дошок комірку. Пожилецькі кепкували з хазяйки своєї, що порядок у квартирі роблять курчата: як повиходять люде на роботу, хазяйка напускає у квартиру курчат і вони поїдають там усяку нечисть та нужу; воно і для порядку добре, і курчатам корму безплатного досить.

Пані Анеля зовсім не дбала за своїх пожильців після того, як вони одного разу тяжко покривдили її: вона занедужала була на ломути і цілий тиждень промучилась тяжко, не могла встати з постелі; а тим часом одинадцяттеро її пожильців задумали помандрувати у Канзас і покинули квартиру, не заплативши грошей.

Ось у яку квартиру попали на перший час литовські переселенці; але треба було й за се дякувати Богу, бо в інших місці могло бути і гірше, і дорожче. Жінок і дітей пані Анеля помістила у свою кімнату, де сиділа сама з трьома дітьми.

Юргіс був певний, що на другий день він знайде собі роботу, а може й для Іонаса трапить ся що-небудь і тоді вони, заробивши грошей, зможуть найняти свою власну квартиру. А тим часом треба було якось потерпіти.

Того-ж дня над вечір Юргіс і Она пішли пройти ся і роздивитись навкруги того місця, де їм давало ся оселитись.

Скрізь, скільки оком збагнеш,, тягнулись ряди одномаїтних понурих домів на два поверхи і тільки де-не-де траплялось порожнє місце з млявою, миршавою зеленою засажених помідорів. На де-яких порожніх місцях і на вулицях бігали діти, ганяючись одно-за одним; перевертаючись та пустуючи. Дітей було дуже багато, аж иноді трудно було пройти чи проїхати вулицею; можна було подумати, що се школярів тільки що випустили зо школи. Але тут ніякої школи не було; се все були діти робітників, що жили у тім кварталі.

Вулиці були тут не-бруковані, кальні, у вибоях та рівчаках; тільки по-під домами були пішеходи. В де-яких ямах стояли калюжи смердячої гнилої зеленої води; у тих калюжах рили ся і шпортали ся діти, раз-у-раз щось витягаючи з них, а круг них роями літали мухи. Скрізь був такий гнилий і тяжко-прикрий дух, що аж у носі крутило. Дух той брав ся з того, що тут скидали смітте і нечистоти з цілого міста, а діти шукали там корму для курей. Люде, що жили у тій окрузі, потішали себе надією, що все те колись перегние і духу тако не буде; пропадуть може тоді й муки. А поки-що було дуже тяжко і прикро там жити, особливо в літку, коли сонце пекло і часто дощі йшли.

Недалеко від того місця стояла цегельня; кругом неї скрізь були покопані дуже великі і глибокі ями, з яких добували глину на цеглу. У старі ями також валили смітте, гній та нечистоти і там також копалась велика сила дїтвори. В одній такій ямі було повно гнилої зеленої води, що ніколи не висихала; зимою, як вода замерзала, там рубали кригу і розвозили по місті та продавали таким людам, що ніколи не читали нічого про заразу та мікробів.

Сонце вже заходило і світило тільки на покрівлі домів. Ті доми тягнулись безконечною низкою геть аж до краю небозводу; стреміли між ними в гору високі чорні димарі фабрик і садив з них хмарами дим; тепер той дим був уже не чорний, а переливав ся на останніх промінях сонця ріжними барвами: і рудими, і сивими, і червоними, як кров. Юргіс і Она довго стояли і дивились на се незвичайне для них видовисько і здавало ся їм, що се якийсь чарівний сон, дивна казка, осяяна їх коханням і світлими надїями. Тут була для них воля, праця, а може й щасте. Повертаючись до дому, Юргіс сказав Онї певним голосом: „Завтра я піду і знайду роботу“.

III.

У Якуба Шедвіли в крамниці бувало багато народу і мав він чимало знайомих. Був він знайомий і з одним поліцейським, що служив на фабриці Дургема. Тому поліцейському доручали иноді підшукувати робочих на фабрику. Якуб надумав звернутись до його, щоб знайти роботу для своїх земляків — коли не для всіх, то хоч для де котрих.

Обміркувавши справу, надумали, що треба в сам перед пошукати роботи для старого Антона та для Іонаса. Юргіс був певний, що сам знайде собі роботу.

Воно так і стало ся. Він пішов на фабрику Броуна і простояв там перед ворітьми не більш, як пів години. Його здоровенна вдача звернула на себе увагу одного надсмотрщика і він поманив Юргіса до себе рукою. Розмова була коротка.

— Розумієт по англійському?

— Ні, — по литовському. (Юргіс завчив добре те слово).

— Роботи?

Юргіс кивнув головою, що так.

— Робив тут ранійше?

Юргіс показує, що не розуміє. Надсмотрщик на миги показує, як роблять лопатою; Юргіс киває головою.

— Бачиш двері? (надсмотрщик і рукою показує).

— Еге.

— Завтра у сім годин, — повторяє той трьома славянськими мовами і Юргіс зрозумів його.

— Добре, — дякує він на миги.

Осе і все. Юргіс повернувся йти; його взяла така радість, що він несамовито крикнув, підскачів на одній нозі і бігцем, мов божевільний, побіг до дому. Він ускочив у хату з голосним криком: „Є робота! Є робота!“, аж почали його лаяти ті сусіди, що вернулись з ночної зміни і тепер лягали спати.

Тим часом Якуб встиг поговорити зо знайомим поліцейським і той обіцяв знайти роботу для Антона і Іонаса. Сімя пересенців зраділа незвичайно, радів з ними й Якуб і, щоб одсвяткувати той щасливий день, він надумав повести земляків по місту і показати їм все, що є найцікавішого. Крамницю він здав на жінку і вони пішли.

Якуб з давних давен жив тут. Коли він тут оселився, то ще навкруги був порожній степ і багато домів та фабрик ставило ся вже за його пам'яті. Тож і почував він себе гордо і, показуючи землякам цікаві місця поводитив ся так, мов той пан, що показує гостям свій маєток.

Вони пішли довгою вулицею до скотних дворів. Тудиж таки йшла велика сила людей, що служили на різницях; се були вже вищі служащі: конторщики, писарі та інші,

яким можна було приходити на службу пізнійше; прості-ж робочі мусіли ставати на роботу у сім годин.

А у повітрі вже лунав той далекий гомін десятків тисяч товару, мов рев і гомін хвиль океану. Наших переселенців тягнула туди цікавість, мов дітей, яких ведуть, щоб показати їм звіринець.

Перейшовши рельси залізниці вони побачили загони і обори для товару; вони хотіли роздивитись, але Якуб потягнув їх далі, сказавши, що там буде цікавіше. Він повів їх по східцях на високу галерію з якої вони побачили відразу всі скотні двори. Ті двори займали обсяг землі у скілька верств вдовж і впоперек; вся та площа була поділена стінками і загородами і повно там було товару; немов ціле море його, скільки оком збагнути. Товар був прерізаний і всякої масти і всякого сорту: і воли, й телята, і смирні ялівки та корови, з добрими ласкавими очима, і буйні, дикі круторогі бики з Тексасу. Ніколи з роду наші переселенці не бачили такої нечисленної сили товару, — ціле море товару. Поміж загонами були проходи, переділені ворітьми. Якуб сказав, що таких воріт було тут двадцять п'ять тисяч. Люде аж роти пороззявляли з того дива, а Якуб почував себе гордо, неначе се все було його добро. Почував себе трохи з горда й Юргіс, бо тепер уже і він був маленьким цвяшком у тій величезній машині.

У тих проходах їздили верхами люде, у високих чоботях з довгими батогами в руках; се були купці-прасоли, що торгували худобою. Тут таки й робив ся торг, на-швидку, у скілька хвилин; сторгувавшись, купці записували олівцем якийсь квіток з книжочки тай ішли далі.

(Далі буде).



МИХ. МОЧУЛЬСЬКИЙ.

Поезії Стефана Чарнецького п. з.

„В годині єумерку“¹⁾.

Перша поетична книжечка молодого письменника... Я прочитав її пильно і захрип. Маю бити браво? Мені дуже хотілось би оплесками повитати молодого поета, але не складають ся руки. Чому-ж? Для мене поезія — то острів, осяяний палким промінем золотого сонця; завітчаний пахущим білим зіллям, розспіваний піснею казкових птахів; то — острів, де білими стежками ходять душі натомлені житевими трудами, під зеленими розкішними деревами струшують пил зі своїх крил, із гучних жерел шють цілющу воду і відходять обновленими, сьвіжими, сильними. А власне поезія Чарнецького не єсть для мене тим жерелом, із якого моя душа могла-б напити ся цілющої води. Я знайшов в його поезії чуле серце на красу природи і на дівочу вроду, але я знайшов у ній і трохи акторства і легководушність.

Зараз же на чолі книжечки Чарнецького стоїть така пісенька:

Над нами не шумить труба бурливих днів,
Не гріє сонце нас, ні громів дивий спів;
Безголосно колись торбани покладем —
...І в смутку відійдем...

Невже-ж молодий поет у воріт життя, у воріт поетичної діяльності так співає? Я не хочу вірити в щирість слів поета. На мою думку — се акторство. Поет іще не зорієнтував ся у великім царстві штуки, не знав до якого гурту співаків пристати і пішов за голосом тих, що люблять ставати на котурни, оутувати ся плащем безпричинного, безнадійного смутку та легководушно класти намісь ідей — еротизм.

Автор гарної пісні „І вже на тім падолі сліз, дівчино“... (в редакції „Авордів“), нав'язної Бєвлінівською картиною „Острів померших“, та інших удачних пісень в роді „Ти цезла скорше“, „Село нудьгує...“, „Місячна соната“, „Там де гора чорна, сумна“ — на хибній дорозі. А шкода і жалко, коли Чарнецький свій ліричний талант тратить на писаню таких пес, як з театральним патосом написана поезійка „Vogue la galère!“

¹⁾ Видавництво „Молода Муза“, VII, Львів 1908.

Я іду... Чорна ніч слонить тіню мене,
Вітер спомини звіє по мині;
Мов скиталець блудний човен мій пожене
Гей на море, на филі, на сині.

Я іду. Чи найду супокійний острів,
Чи забуду, як стріну затише, —
Чи як тінь піде там в слід за мною любов,
Мені душу тугою вколише. —

Я іду, я іду... серед бурі огнів
В вічну тінь, в забуте

або, як розпустна пісенька, живцем перенесена із поетичного зільниа Станіслава Виржиковського:

Прийди сповита в чар гаснучих рут,	Rozkołysz zmysły wonią białych łąk
Як день конати буде;	I szarych oczu lśnieniem,
Прийди з устами наче маків жмут	Rozpromień usta jako maku łąk
Відслони білі груди..	Ust swoich lekkim drżeniem.
Вколиши душу звуком срібних струн,	Rozkołysz duszę melancholiją łąk
В вечірній чар привдійся,	Zalaną mgłą i cieniem,
Розжари грудь кровавим блиском дун	Miesięczny rozpal jej wśród nosy łąk
Тай... з мрією розвій ся!	I rozwiej się z marzeniem.

На скільки можу вносити з поезій Чарнецького безнадійний смуток і еротизм, у яким він хоче втопити той смуток (напр. „Eh, vive la vie!“) — породило не дійсне жите, лише лектура деяких польських поетів, головно Казимира Тетмаера, який на початку 90-их років згубив свої молодечі ідеали, попав у безнадійний смуток, („Melancholja, tęsknota, smutek, zniechęcenie są treścią mojej duszy“...) і почав бажати:

Nirwany, której nic już nie zabolі,
Nic nie ucieszy, w której się powoli
Przechodzi ze snów cichych w nieistnienie.

Ремінісценції з поезій К. Тетмаера zostавили свій слід на творах Чарнецького. Я не буду переводити спеціального аналізу в тім напрямі, покажу лише на прикладі, як поезія Тетмаера впливає на концепцію і навіть на основні гади поезії Чарнецького.

Порівняймо дотичні місця пєси Чарнецького „В беззвїздну ніч“ з відповідними місцями сонету К. Тетмаера „Halucynasya“.

Мов степ глухий, далеке, темне
 море,
 На шибі світло ломить ся
 тремтяче;
 Судно без керми чорні фі-
 лі поре,
 На скелі мєва вмирає і плаче...

Блїдавий блєск облив дрі-
 мучі філі
 І струя світла на судно
 упала:
 Дві монахині голови схилили;
 Мертва дівчиня біля них ле-
 жала...

Пливе судно безголосно
 водою,
 Весло не плеще, філя за-
 дрїмала;

Рама поетичної картини Чарнецького (початкова й кінцева строфа починається: „Бувають сні такі тяжкі, утомні...“), як бачимо, — власні, але основа сеї картини запозичена у Тетмаєра.

„Мені впали в око ще дві аналогії — хоч у меншій ступні як у першій випадку — а то між сонетом Чарнецького „При водопаді“ і „Гуцульською піснею“, а песами Тетмаєра „Potok symboliczny“ і „Ku mej kołysce“:

Куди словершені, граніт-
 ні, горді стїни
 І смерековий лїс у вічний млі дрімучий —
 В провалині страшній, у
 темних борів тїни,
 Мов срібнолентий вуж — там
 повзе Прут ревучий.

Глянь в пропасть, звідкїля той ди-
 кий рев несеть ся,
 Де філя в лускотом в бе-
 зодню поринає,
 Де бовван на стрімкій підводній
 скелі дреть ся.
 І береги — пїни завоями вби-
 рає,

W miesięcznej pełni sre-
 brzystym fosforze,
 Ponieskończonej wódciem-
 nych roztoczy,
 Łódź sennem wiosłem po-
 woli się toczy
 Wędrując kędyś samotna
 przez morze.

Na jej dnie, padłszy miękko jak
 na łożę,
 Naga, w księżycu mgławicy
 przeźroczej,
 Na wznak z milcząco zamk-
 niętymi oczu
 Leży kobieta. Łódź płynie
 w bezdroże...

W skrzęsanych turni roz-
 padlinie,
 W zawrotnej wysokości
 skalnej,
 Szumiący, bystry potok płynie
 Niedosłyszany, niewi-
 dzialny.

Szumi i pędzi — iz urwiska
 Przez głaz, co góry z sobą skuł,
 W otchłań się czatną srebrny
 ciska
 I leci bez pamięci w dół.

Fala za falą rwiè się,
pieni —

Мою колиску шум смерек пестив
І Прута шуми;
Понад колибу зимний вітер вив
Розбільні думи.

Ku mej kołysce leciał od Tatr
O skrzydła orle otarty wiatr,
O limby, co się patrzy w urwisko
Leciał iszumiał nad mą ko-
łyską.

Повиспі порівняння торкають ся концепції згаданих творів Чарнецького; тепер подивим ся як схожі на себе оба поети що до своїх аналогічних пісень зогляду на основну гадку.

Вчитель К. Тетмаєр співає. Учень Чарнецький вторує йому.

Feśli najwyższem szczęściem zaromnienie,	Eh, vive la vie! Нехай заграє сьміх
Bez wiedza i niepamięć własnego istnienia,	В огню керви жите нехай порине,
Too ty jest szczęściem szczęścia, ty co dajesz	Проч сум з чола! Туди, де море втіх,
Omdlenie duszy i omdlenie zmysłom	Де забуте... В одній шумній годині
I myśli kładziesz kres upajający,	Переживем терпіня днів усіх:

Міłości.

Нехай заграє сьміх!
Eh, vive la vie! Най пісня рвесь
пуста!
І струями най шумно лють ся вина;
Ти нахили вишневі уста,
Ах, ти у пристрасні обійми йди, дівчино,
Най злучить нас на хвили
гра пуста.
Гей нахили уста!...

Зіставивши побіч себе пєси Чарнецького з відповідними пєсами Тетмаєра я, здаєть ся, наглядно зілюстровав на живих прикладах і підпер своє твердженє, що безнадійний смуток і забутє того ж смутку в любовнім одурі — то не плід обставин житя Чарнецького, не щось таке, що органічно зросло ся з його душею, а навпаки, що той безнадійний смуток і забутє його в любовнім одурі, — то лише намул, який остав ся по лектурі творів Тетмаєра та його учеників, то лише ржа, яка покрила талант Чарнецького, з якої небавом він повинен очистити ся і зірвати ся до власного дєту.

На творчість Чарнецького вплинули ще — на скільки зараз же міг я сконтролювати — крім висше згаданих — такі польські поети:

По бурі.

Притихла буря... Низько
над землею,
Тягнуть ся хмари втомле-
ні, понури;
Сонце сховалось під сіру
кирею,
Хати здрімались задума-
ні, хмурі...

І тихим зойком влісі поне-
сеть ся
Та серед яру темного ско-
нає.
І знов так тихо, як в серці по бурі...

Не йди від мене.
Не йди від мене ти, що все
сігла
На небі мого щастя як про-
мінна зоря,
Диви: найкращі цвіти до-
ля потоптала
І стежку заступили темні
тіни горя...
Не йди!

Не жду спокою!...
Не жду спокою! Бурі жду,
Щоби заграла громом;
Най оловяним звоєм хмар
Над моїм стане домом...

Для характеристики, в якій мірі Чарнецький залюблений у польських поетах, додаю в кінці, що у своїй збірці подав він перекладом твори Годлевського, Марії Вольської (D-mol) і Петшицкого.

Іще на одно позволю собі звернути увагу поета: наголошуване слів не всюди у нього українське і наслідком чого ритм буває у нього часто неправильний; мова заснічена у нього польонізмами (безвідно — bezwiednie, слонити — słońić, в розжаленя го-

В. Пержинський

Po deszczu.

Trzy dni deszcz padał. Nis-
ko ponad ziemią
Wloką się białe, wycień-
czone chmury.
We mgłach las stoi — mil-
cząco, ponury.
Gałęzie do pni tulą się i drze-
nią.

A czasem jeszcze porwie
się z oddali
Wicher i jękiem po drze-
wach uderzy,
I liście deczczem z pereł rozkrzysztali.
Віктор Гомулицький.

Nie odchodź!
O! nie odchodź odemnie ty,
coś stała zawsze
Na straży moich marzeń,
jako gwiazda złota!
Patrz! dni coraz chmurniej-
sze, niebo coraz łzawsze
I coraz więcej cierni na ró-
żach żywota...

Or — Ot

Fragment.

Nie pragnę ciszy! ehę walki,
chcę burzy,
Która gromową symfonią
wybuchła!
Niech mi swe szpony w młodą pierś
zanurzy,
Niech trawiąc ciało wyolbrzymi
ducha...

дину (w gozzaleniа godzine) нам. в годину жалю, повійний — rowiewny, бров (sing.) — brew, москалізмами (мрак нам. мряга, імла; стон нам. стогін і проч нам, геть); безпотрібними неологізмами (розбільний, завірні, засьвіти, смерк) та в невластивім значіню вжитими словами (табор овець нам. отара овець; мріти — mżeć нам. мріяти) — і наслідком того поезії тратять часто на красі та блиску.

МИКОЛА СТРИШИНСЬКИЙ.

Даваймо жить! Покиньмо сум!
 Кайдани рвім, ламаймо ґрати!
 Ми молоді, — берімо ж все,
 Що дасть життя, що зможем взяти!
 Даваймо жить, і геть нудьгу, —
 Доволі сліз уже лило ся!
 Чи ж за слізма покращав світ?
 Чи сонце правди зайняло ся?
 До праці ж всі, брати мої:
 Віддаймо сили для громади!
 Чи може спать? А иньші хай
 За нас терплять, шукають ради?
 І щож, коли свободи стяг
 Замає високо над нами
 Ті иньші скажуть: сором вам,
 Що не стидались быть рабами?
 І запитають всіх: ти жив?
 Твоя душа кохать уміла?
 В тобі не вянув квіт надій?
 Тобі була свобода мила?
 Що скажем ми? Даваймо ж жить!
 Помершим спокій і могила,
 А нам життя! Ми мусим жить!
 Ми молоді, за нами сила!



Ф. МАТУШЕВСЬКИЙ.

3 українського життя.

Де-кілька слів про урядову боротьбу з лихом народнім. — Переселенський рух на Україні. — Еміграція з України.

В перший книжці журналу ми помянули про одно найтяжше лихо в нашім суспільно-політичнім життю — а саме про те, що так звані „государственные люди“ офіціальної Росії, ходючи коло державних справ, в протязі всієї історії бюрократичного правування Росією, ніколи здасть ся або ж дуже рідко не сягали думкою до перших і справжніх причин того чи иншого лихого явища в життю народнім. Звичайно бувало та й тепер так воно ведеть ся, що те чи инше лихо народжуєть ся на світ й зростає, а на його ніхто й не зважає аж до того часу, поки воно не прийме розмірів великого лиха і не почне вже загрожувати великою небезпекою. Тоді починаєть ся боротьба з ним. Тисячами розлітають ся в одну мить по всій країні офіціальні „прикази“ в котрих „предписывается немедленно принять рѣшительныя мѣры“ та „неуклонно исполнять“ те й те. І агенти власти починають вивонувати „предписанія“ вищого начальства. В такім способі боротьби бюрократичного уряду з тим чи иншим народнім лихом завжди було і зараз є дві найголовніші хиби: боротьба завжди провадить ся невміло, без системи, навмання, по однім канцелярським шаблоні, — се одно; а друге, — що борють ся тільки з явищами того чи иншого лиха і ніколи — з одною причиною його. Наслідки від такої системи боротьби зо всяким лихом — як що тільки брак системи можна назвати системою, — виходять вельми сумні. Російські будівничі державного організму навряд чи спроможуть ся поєликати ся хоча на один приклад, котрий би посвідчив, що їм пощастило запобігти якому небудь лиху, що загрожувало народньому організму або вигоїти сей організм від якоїсь соціальної хвороби. Навпаки, тисячами фактів можна довести, що всі без ліку й числа хвороби й болячки, котрі тепер ятрають ся на державнім організмі Росії, прокидали ся й зростали „безпрепятственно“, дарма що канцелярії „въ самоскорѣишемъ времени“ розсилали циркуляри і накази, щоб виворінати їх „неукоснительно“ і „всемѣрно“. Болячки прокидали ся одна по

одній; одну по одній роскидало їх по всім організмі народнім; одна викликала другу або цілий гурт споріднених між собою лих та бід. Се перший наслідок бюрократичних способів боротьби з бідю та лихом народнім. Другий наслідок той, що боротьба така, окрім своєї нездатности запобігти лиху, ще до того і обходить ся непомірно дорого, нарешті третя найголовніша шкода від такої боротьби, — се деморалізуючий вплив її і на саму власть і на народ. По прикладі ходити далеко не треба. Того разу ми між иньшим згадали про неврожай хліба на Україні і про голод. Сього разу нам знову спало на думку се велике лихо народне, що впало геть на всю Україну. До неврожаю хліба в минувщій році ще й осінь трапила ся така суха, що люде здебільшого не сіяли озимини. Не вважаючи на те, що зараз функціонує дума, ми не знаємо ні справжніх розмірів неврожаю в минувщій році, ні певних відомостей про нове лихо, що безперечно насовується на нас і незабаром прокинеть ся, хоча преса увесь час невгаваючи, з самого початку осені і до останнього часу, твердить про те, що народ гине від голодування і тяжких хвороб, що породило се голодування. А тим часом неофіціальні звістки промовляють дуже сумні речі. В самім кінці місяця грудня до комітету громадської заповоги голодним у Москві надійшли вісти, що в Полтавщині озимина пропала геть; на Волини Поділля, Київщині, Херсонщині, Катеринославщині, Чернігівщині, Бесарабії, Донщині, Кубанщині і на всім північнім Кавказі, а також і Таврії озимина зовсім плоха: в трьох напр., провобічних губерніях добрі $\frac{2}{3}$ частини її загинуло геть. А скілько ж то її уціліло можна догадати ся по тім що в сих трьох губерніях, як і в так званих „малоросійських“ губ. $\frac{1}{2}$ поля в хліборобів лишилася незасіяною. Сі відомости стоять у повній згоді з безлічю дописів по газетах із різних кутків України про той сум тяжкий, що оповив всюди селян хліборобів, про ту нужду в хлібі, що терпить скрізь село і про ті страшні примари голоду, що повисли над селами по всій Україні.

Ось, напр., кореспондент з Катеринополю на Київщині сповіщає, що з 3900 дес. поля катеринопольці обсіяли тільки 30—40 дес. та й на тих майже нічого не посходило. Селяне — додає кореспондент — зовсім і руки опустили, не знають, чога можна сподівати ся на той рік, коли й тепер вже в багатьох нема чога їсти і немає чим палити ¹⁾).

¹⁾ „Рада“, ч. 226.

Дуже яскраву і докладну картину що до становища села і настрою селян хліборобів подає коресподент „Ради“ з Радомиського повіту на Київщині. „Сумно дивити ся, — пише він — на поля, котрі звичайно в сьм пору вже зеленіють, а тепер вони скрізь стоять сірі, або чорні... Земля висохла, немов камінь і її не бере ніяке рало. Всі селяне страшенно стурбовані, ждуть дощу, правлять молебні, але нічого не помагає... „Голоду треба сподівати ся на той рік, та ще й великого голоду“ — голосять селяне¹⁾.

Далі коресподент дає загальний малюнок селянських вжитків у минулім році. Вже по весні, як видно стало, що на врожай надія плоха, ціна на хліб сильно підняла ся вгору: за пуд борошна платили 1.60—1.80 коп. А як розпочали ся жнива, то заробітня плата впала так низько, що доводило ся працювати як раз тиждень, щоб заробити на пуд хліба, бо робітникови платили по 25—30 коп. в день. Але й за таку злиденну плату люде через неврожай не знаходили собі заробітку. Молодші йшли шукати заробітків на стороні, але й там їх не знаходили; старі лишали ся дома і щоб прокормити сьак так сімю, спродували за безцінь все, що тільки можна було продати: коней, корів, свиней, овець; інші рубали деревину на своїх гайках і спродували її також за безцінь: хуру дубини продавали по 60 коп. Кінчає коресподент свого листа звичайного для теперішніх часів скаргою на те, що „скрізь розвели ся вкрадіжки, а по деяких місцях орудують навіть цілі злочинські ватаги, як от у Брусиліві то що. По всім повіті не переводять ся до того ще й усякі пошести та хвороби: тиф, кір, віспа, шкарлятина і т. ин. добро“²⁾.

Такі точнісінько вісти йдуть з усіх кутків України і ми не станемо втомляти читача цитатами із дописів, хоча по їх і зустрічаєть ся чимало цїєвих подробиць. Але загальний малюнок становища сучасного села скрізь білш — менш однаковий. Та й не для того ми тут зняли розмову, щоб дати докладну картину становища сучасного села. Як що ж згадавши про се скористували ся з згаданої коресподенції, то зробили се для ілюстрації загального малюнку, котрий і без того всім добре відомий. Розмова ж наша йде про те, що бюрократичні способи боротьби з лихом народнім ніколи не досягають мети, дорого обходять ся і нарешті деморалізують і агентів власти і самий народ. Як відомо вже з давніх давен,

1) „Рада“, ч. 227.

2) „Рада“, ч. 227.

в жадній країні не буває так часто недороду хліба або й просто голоду як в Росії, дарма що Росію прозвано в підручниках географії „житницею Європи“. Статистика неврожаїв показує нам, що в Росії останніми двома століттями неврожаї хліба офіційно посвідчені, трапляють ся що 5 — 7 років, а то й частійше. Як що-ж ми згадаємо, що на офіційне посвідчення неврожаїв і голодування в Росії за старих порядків, — котрі існують і по сей день, — уряд згожуєть ся дуже неохоче і посвідчує їх тоді, коли вже не можна далі крити ся з лихом, то можна сміливо сказати, що неврожаї і голодування з давнього часу стали в Росії хронічною хворобою, котра ніколи й не виводить ся. Тим часом ми не можемо покликати ся, хоч би того й хотіли, на жадний захід нашого уряду, котрий би направлений був на те, щоб якось запобігти сьому лиху, попередити його, взяти якіхсь заходів, щоб його відвернути від країни, або коли вже сього не можна зробити, то хоч принаймні вигадати міцну й сталу організацію заемоги селянському люду під час неврожаїв голоду. Навпаки, ми бачимо, що уряд доклав ще своїх рук до того, щоб і ту мало здатну і мало пристосовану до дійсних умов життя організацію способів заемоги людам, що існувала попереду, зробити зовсім нездатною ні до чого і повернути її в нівець. Ми не будемо спиняти ся тут на критиці законодавчих норм і сучасної організації заемоги голодним, бо те і друге відоме добре всім, а коли б кому заблагнуло ся довідати ся про се, то радимо для сього прочитати хоч би статтю д. Просвітянина ч. ч. 9 і 10 „Ради“ за сей рік. Що ж до другої хибки в тих способах боротьби з голодом, яких вживає наш уряд, тоб-то непомірної дорожнечі їх, то для сього доволі буде пригадати, що за останні 15 років на заемогу голодним казна витратила без малого 400 мил. карб. Як що ж полічити те, що втрачає народ через голод хоч би на тім, що мусить за безцін збувати иноді зовсім все своє добро, аби не вмерти з голоду, а потім на тім, що йому звичайно доводить ся двічі а то і тричі більше повертати казни проти того, що він взяв в неї, бо дають йому хліб по тій ціні, що стоїть на хлібі під час голоду, коли він дорогий, а народови доводить ся вертати заемогу тоді, як хліб вродить і коли він буває дешевший иноді двічі проти попереднього, коли доводять ся продати два пуди нового хліба, щоб заплатити за один пуд, що взято було торік не борг, — коли, кажемо, — зважити се все, то дорожнеча таких способів боротьби з голодом і заемоги голодному люду збільшить ся ще в кілька разів і наблизить ся до

справдешніх розмірів своєї реальної дійсности. Зрештою можна сказати, що як би уряд за ці останні 15 років витратив згадані 400 мил. на боротьбу з голодом, не тоді коли голодна смерть зазирає вже мільонам люду у вічі, а заздалегідь щоб підняти культуру в країні, то напевне народ не гинув би з голоду так як він гине зараз.

Що до третьої шкоди — деморалізації агентів влади від найвищих до найнижчих за такої системи заповоги, то доводі пригадати свіжу Гурко-Лідвальську епопею, щоб не тратити зайвих слів на аргументацію висловленої гадеи. Ми тільки зазначимо тут, що коли говорять про деморалізацію представників влади, то звичайно мають на увазі тільки один бік справи — спокусу „змішати“ иноді скарбові гроші із своїми власними, або взагалі „неосторожное и легкомысленное отношение“ що до їх. Але не в сій тільки можливости (кажемо „можливости“, бо може навіть трапити ся й таке, що кожна копійка піде на діло, як не трудно уявити собі таке чудо) лежить джерело деморалізації. На нашу думку на власть має деморалізуючий вплив той факт, що вона виступає в таких випадках в ролі „благодітеля“, а окрім того, дякуючи прислужникам своїм, котрі при сій нагоді не забаряють ся окружити її ореолом надвичайної людяности і доброго серця і наввипередки возвеличують її, вона й сама починає ставити собі в заслугу те, що опікуєть ся голодним людом, забуваючи, що се її прямий обовязок, і що добродійства тут не має і на шаг. Тим часом власть іменно призвичаїла ся так дивити ся на заповогу голодним, як на акт особливої милости і через се їй і на думку ніколи не спадало, що їй треба за кожную витрачену копіяку рахунок народови сьласти. Що до деморалізації народа, то його безпорадність, брак ініціятиви й самодіяльности, нездатність до організованих способів боротьби з кожним лихом, що трапляєть ся у життю, — звичка завжди і у всім здавати ся як не на волю божу то на ласку начальства, на те, що „казна дасть, казна поможе“, — все отсе може служити за найкращого показчика деморалізуючого впливу заповоги в такій формі, до якої призвичаїв ся за свій вік народ.

До самого останнього часу народ наш знав єдиний спосіб боротьби з усякою бідом — переселенне. Недостача землі, часті неврожаї і споріднені з сими двома лихами всі інші лиха й біди, спонукали його до переселення. В мандрівці у далекі краї виявляла ся, здаєть ся, уся самодіяльність нашого темного, пригніченого

нуждою й безправного селянина. Ся самодіяльність провинула ся тепер з особливою силою. Викликали її і нужда в землі, і зруйновані надії на порішення земельного питання в думі і агітація урядова. Ми не маємо зараз під руками певних статистичних цифр, що свідчили б інтензивність переселенського руху з України, проте щоденна хроніка по часописах південної частини Росії дає багатий матеріал що до сили й розмірів його. Рух сей зняв ся високою і широкою хвилею, котра захопила десятки тисяч родин і понесла їх в далекі краї шукати кращої долі. Читачеві нашому ні для чого нагадувати тут про ті окремі факти і епізоди, що трапляли ся що-години на тлі сього стихійного руху. Та й місця в нас бракує для сього, бо переселенському руху з України в звязку з політичними подіями за останні роки треба присвятити спеціальну монографію. На сей раз ми спинимо ся тільки на однім факті чималої ваги і цікавості. Відомо, що як розпочав ся переселенський рух по селах, то великоземельне панство зустріло й привитало його з великою радістю. Деякі земства, що колись вважали ся за огнища а то й мало не за фортеці ліберального руху, перевернувшись тепер на фортеці отвертого реакціонерства і запеклої ворожнечі до ідей навіть поміркованого демократизму, пішли радо на зустріч сьому руху, і намірили ся надади йому організовані й сталі форми. Полтавське земство вело в сім ділі перед: воно одряжало спеціальних агентів до Сибіру, на Амур й до Середньої Азії, споряджало партії ходоків то-що, — одно слово старало ся стати люду у пригоді чим тільки можна, аби він рушав на нові землі. Під кінець року, коли вже більш-менш вяснили ся результати переселенського руху за минулий час, з ініціативи харківського земства скликано було у Харькові краєвий зїзд в справі переселення. На зїзд постановлено було запросити представників од губерній, по яких живе однаковий люд і які мають однаковий характер хліборобського промислу. Харківська земська управа запросила з Херсонщини, Харьківщини, Полтавщини, Чернигівщини і Катеринославщини председателів або натомість членів губерських і повітових управ, земських агрономів, інспекторів сельського господарства, представників од земельних комісій, як досвідчених осіб, що багато працювали і добре знають справу переселення. Бюро зїздове склало таку програму: 1) повідомлення агронома полтавського земства д. Соколовського про свою поїздку в степову країну Азіятської Росії для огляду земель і вяснення придатности їх для переселення з України; 2) пересе-

ленська організація полтавського земства; 3) сучасне становище справи переселення і чого їй бракує: а) порядок здобування дозволу на переселення; ходоки, вибір районів; б) ліквідація майна переселенців; в) переїзд переселенців і організація допомоги у дорозі; г) розселення на нових місцях і 4) проект крайової земської організації в справі переселення.

Іншим часом такий зїзд з такою програмою безперечно зацікавив би і геть-то громадянство й пресу. Під теперішні ж часи він одбув ся якось зовсім непомітно. Стало ся таке тому, що поперед усього справа, велика й важна сама по собі, під теперішні часи здаєть ся хоч і не дрібною, а все ж таки не першорядної ваги, потім — і громадянство і преса байдужним оком поглянули на неї ще й через те, що до якого б рішення зїзд не прийшов, однаково з сього користи мало буде, бо таку важну справу можна як слід розв'язати тільки тоді, як що розв'язані будуть відповідно до вимог часу і сучасних потреб життя інші важні справи й питання, од яких залежатиме вже розв'язання й цієї справи, і нарешті зїзд відбував ся як раз під час виборів, в початку жовтня, коли людям, найбільш заінтересованим в переселенню, було не до того. Ба й справді, на зїзд прибуло гуртом всього 40 чоловіка та й ті поділяли ся так: представників земств було всього 15, земського так званого „третього елементу“ (земських агрономів, статистиків) — 12 і нарешті — 12 представників по справах земельних од уряду... Як бачимо — „гора породила мишу“ — як то кажуть. В той час, коли йшла ще тільки підготовка до зїзду, можна було сподівати ся — і ми певні були в тому, — що хоча на сьому зїзді толку і не буде, як не було його, на приклад, на прославленному зїзді земських діячів, що одбув ся зараз по роспуску другої думи, про те думало ся, що великоземельне панство голосно відгукнеть ся на заклик обмірковувати гуртом справу, котра так гостро його зачіпає. Адже на розв'язання земельної справи за помічю переселення покладались такі великі надії, що полтавське панство напр., гадало порішити його в одну мить. Земство обрахувало, що як би знайшов ся десь, у якійсь благословенній стороні кляпоть вільної землі завбільшки в 4 міль. десятин, котру можна було б... не думайте, що купити, ні, а так взяти, та спровадить з Полтавщини одразу 200 — 300 тис. безземельних мужичків, то тоді можна було б до якогось часу спокійно спати. По такому обрахунку полтавське панство, не довго думаючи, одрядило позаторік до степової країни Азії спеціальну експедицію, щоб довідати ся, чи неможна одтяти в Киргізів сі 4 міль.

дес. земельки, однаково вона їм не потрібна, а у полтавських мужиків он-яка велика нужда в їй. Експедиція поїхала і обіхавши Семиріччя та Тургайську і Уральську країни, вернула ся до Полтави і розповіла, що надїї на „експропріацію“ 4 міль дес. землі у Киргізів хоч би й з добродійною метою, щоб наділити нею безземельного полтавського мужичка, — даремні. Але експедиція, блукаючи по азіатських степах, згаяла часу не місяць і не два і одповідь дала полтавському панству довго переогодя. А тим часом чутека про вчинок полтавського земства, поки не вернула ся експедиція, здав ся панам сусідніх з Полтавщиною губерній, дуже мудрим і гарним. Натуральна річ, що думка про краєвий зїзд в справі переселення повинна була літати в повітрі. Треба було комусь тільки піймати сього птаха. Його й піймало найближче земство Харківське і скликало краєвий зїзд. Але поки той зїзд було уряджено, експедиція успіла повернути ся до дому і розвіяла надїї на киргізькі землі. Тим то й зїзд вдав ся такий химерний та малолюдний.

Не вважаючи тим часом на се, він всеж таки був цікавий.

Поперед усього організатори зїзда, щоб не прийти до приїзжих з пустими руками, повинні були зібрати потрібні матеріали що до переселення з України і дати їм лад. Се перша і чимала заслуга земців-організаторів зїзда. Матеріали сі довели, 1) що Україна постачає найбільше переселенців; 2) що переселенці обирають для посілків такі місця, щоб вони були підходящі до місцевости тієї країни, з якої вони вийшли; 3) що придатних до переселення земель мало; 4) що на кожну сімю треба щоб було готівкою що найменше як 300 кар., щоб вона мала змогу осісти ся як слід по хазяйськи на новому місці.

Степові губернії, по яких ліса налічують всього 8% — тобто: Полтавська, Харківська, Катеринославська, Херсонська, Тавричеська, Вороніжська й Курська, — постачають найбільше переселенців: на кожних 1000 переселенців зо всієї Росії з степових губернь припадає 431,2; з лісо-степових, де ліса налічують 12—24% — як от: Київщина, Чернигівщина, — на 1000 приходиться 306,8 переселенців і нарешті з лісових, по яких є ліса од 24 до 75%, — переселенців на кожну 1000 припадає 206. Таким чином найбільше йде народу на переселення з України. І справді, за останні десять років переселило ся з Полтавщини 92.372 д.; з Чернигівщини — 63.472 д., з Харківщини — 43.651 д. і з Київщини — 30.879. На долю перелічених губерній припадає 40% переселенців з цілої Росії. На переселення найбільше йдуть

безземельні і малоземельні; так воно, безперечно, й повинно бути, але й тут цікаво буде, на нашу думку, подати невеличку цифрову таблицку по Полтавщині, щоб було видно, при яких же саме до-статках люде рушають в далекі невідомі краї:

безземельних	21,8%
тих, що мають не більш як 1 дес.	22,6
” ” ” ” 1—3 дес.	40,6
” ” ” ” 3—6 дес.	12,4

Таким чином, як бачимо, мало не 50% переселенців складаєть ся цілком з безземельного люду, котрий рушає з дому тільки з своїми злиднями, зовсім без грошей. Отже не дивина, що % тих, що повертають ся до дому, а також тих, що мусять кидать свою землю і йти у найми до заможних тубольців що року все зростає.

Взагалі переказують, що т. зв. „третій елемент“ земський, котрий і був „паном“ на зїзді, поклав чимало своєї праці коло справи переселення і обробки матеріялу, що тичить ся до неї. Найвидатніші дослїди були ось які: д. Соколовського „О природ-ныхъ и хозяйственныхъ условіяхъ переселенческихъ районовъ наиболѣе соотвѣтствующихъ условіямъ Украины“, д. Жилкина: „О причинахъ переселенія и переселенцяхъ Харьковской губ.“, Оленина-Гю-ненко: „Отрицательныя стороны переселенческаго дѣла“ та ин.

Не спляючись на сих розвідках, ми зазначимо деякі цікаві моменти, що трапили ся на зїзді. Поперед усього кидало ся всім у вічі те, що зїзд, вимірний, як то кажуть, „на широку ногу“, при міцній і вельми „благосклонній“ підтримці центрального уря-ду, котрий мало що не вчора ще земцям й думать навіть заборон-яв про якесь там втручанне в „його“ справу, а тих, що впоми-нали ся про се, вважав за „отъявленныхъ либераловъ“ і небезпеч-них людей; — що сей зїзд з першого і останнього дня одбував ся під дивовижним гаслом: „переселеніє не рѣшаєть аграрного вопроса“. Таку заяву, одкриваючи збори висловив насамперед голо-ва харківської земської управи, кн. Голицын; се саме проказува-ли за ним инші члени краевого зїзду; нарешті представник цент-рального уряду д. Глинка од імени уряду заявив, що уряд залюб-ки піде назустріч всім заходам земства що до улаштування справи переселення, а надто тоді, як що „взгляды земства на этотъ пред-метъ сойдутся со взглядами правительства... А взглядъ пра-тельства таковъ, что переселеніємъ немислимо рѣ-

шить аграрний вопрос¹⁾... Така заява з боку уряду тому, що одказав про земельну справу д. Горемикін першій думі, і що за ним вже двічі — в другій і третій думі — говорив д. Столицін з кн. Васильчиковим і по тих заходах, що в протязі останніх двох років вживав уряд, щоб підняти рух до переселення, а з боку земців-поміщиків по тому, з якою радістю вони вітали сей рух і скільки рук і праці доложили, щоб його пропагувати, — повинна була здавати ся більш ніж дивною. І через се якось трудно, кажуть, було поняти віри в її щирість.

Був ще один дуже цікавий момент під час, коли зїзд обмірковував пункт про значінне переселення в життю держави і про ті різні перешкоди, що стоять на шляху і не дають йому ходу, а надто та всім добре відома „несогласованность вѣдомств“, що ворогуючи між собою, зводять свої рахунки і шкодять справі переселення, тим часом як і без сього дають ся добре в знаки всякі інші пригоди, як наприклад, вороженча до переселенців тубольців. Представникам урядовим доволі скоро пощастило переконати земців, що „несогласованность вѣдомств“ хоча й трапляла ся, та проте вона справі багато не шкодила, нарешті — сей бік справи можна полагодити, а от що до „противодѣйствія“ тубольців, то нелегко було справити ся. Більшість земців ніяк не спроможна була втямити, і з якої то речі тим тубольцям-Киргізам і всякій иншій наволочі азійській „противодѣйствовать“, коли в їх беруть землю для мужиків-Полтавців, чи Киян, чи Катеринославців і чого то переселенцям иноді доводить ся, як оповідав д. Оленин-Гюненко, вступати в бій з тубольцями і провалювати їм голови та обривати уши. Така нетямучість земців примусила одного із членів зїзду повести розмову не манівцями, а навпростець. „Зачѣмъ вы хотите, — мовив він, — вставлять въ свои постановленія замѣчаніе о противодѣйствіи со стороны туземцевъ? Развѣ это не нормальное явленіе? Развѣ есть люди, которые имѣя много земли, уступили бы ее даромъ не имѣющимъ, безъ сопротивленія? Если вы хотите указать, что этимъ затрудняется колонизація, то вѣдь дѣйствительныя попытки въ этомъ направленіи приводятъ къ тому, что туземцы отступаютъ „съ отрѣзанными ушами и носами. Если же это мотивъ землеустройства, то я боюсь его, такъ какъ хорошо знаю, чѣмъ закончилось это землеустройство въ отношеніи Башкиръ“²⁾.

1) „Товарищ“, № 391.

2) „Товар.“ № 399.

Але коли сьому ораторови довело ся вбивати в тямки таку просту річ, як те, що навіть в Киргізів чи в Башкирів не можна „експропріровать“ земельку, хоч би вона була в їх у „безсрочномъ пользованіи“, а особливо тому, хто так рішуче обстоє за принцип „непривосновенности“ своєї власности, то одному з представників центрального уряду випало повторити відому біблейську історію про пророка Валаама з його ослицею. Він доводив земцям, що в азіатських степах Росії відбуваєть ся тепер перехід форм народно-хазяйського життя; люд кочовий перевертаєть ся на осілий і починає пороти землю. Сьому процесови, а вкупі з ним і переселенню найбільші перешкоди чинять киргізькі феодалі. Вони обстоють феодальний лад, бо він їм користний, дарма що достатки місцевого люду од переселення збільшують ся, бо більше землі йде під оранку, а через се заводить ся більше домашньої скотини, розвиваєть ся скотарство і т. ин. Але киргізькі феодалі, як і всякі інші, стоять на ґрунті своїх класових інтересів, котрі завжди стоять в суперечці з інтересами широких мас народа, не хотять поступати ся ними і чинять перешкоди переселенню. Ми не знаємо, без сорому признаємо ся в тому, бо нам не доводило ся досліджувати економіки і форм народної господарки в степах російської Азії, чи й справді воно так, як казав представник міністерства, але коли воно так, то що повинні були думати і почувати полтавські, харьківські, катеринославські й інші феодалі, бачучи перед собою Валаама з його промовляющею ослицею, що послала бюрократія.

Нарешті не можна не згадати і про той загальний висновок, до якого прийшов зїзд що до переселення в тій формі, в якій воно провадило ся і провадить ся й зараз. Зїзд повинен був признати, що „хаотическое, неорганизованное — оно кромѣ растраты и безъ того слабыхъ народныхъ силъ, ничего не можетъ дать“.

Представник центральної власти на зїзді викилав перед членами його програму урядову що до упорядкування і організації переселення. Од імени уряду він заявив, що уряд згоден буде скинути з себе на земство всю ту частину роботи, котру можна зробити на місці, тоб-то: повідомлення людей про усякі справи що до переселення, поміч при ліквідації майна і піклування про переселенців в дорозі. Що до законодавчої ініціативи в справі переселення, складання законопроектів і нарешті всієї роботи коло одводу і межування земель, — то все се центральна власть візьме на себе. Хто ж повинен опікувати ся переселенцями по приїзді їх

на нові землі, — сього питання зїзд не розв'язав: Льогіка річей промовляє за те, що се діло доручити органам місцевого самоврядування, але представник урядовий не сподіваєть ся, щоб се стало ся, через нахил азійської частини Росії до сепаратизму.

Чи мати-ме сей зїзд якись реальні наслідки, чи ні, — не вгадати; швидче всього можна сподівати ся, що ніяких, і все лишить ся як і було, а тим часом безземельний люд густими лавами суне в далекі краї, шукаючи вільних земель і кращої долі. За минулий рік за межу європейської Росії, як відомо, перейшло близько коло 500 тис. народа.

До самого останнього часу і уряд і громадянство і преса стежили очима за переселенським рухом селян на схід, бо в той бік прямувала його найбільша маса, що ж до заходу, то в сей бік ніхто не повертав очей, хоча не можна сказати, щоб з Росії до Захолу не було стежок, втоптаних емігрантами. Були вони, але їх втоптували майже виключно Жиди. Діло ставало на тому, що органи жидівської преси занотовували цифри емігрантів от і по всьому. Урядови до сього мало діла було, що ж до суспільства, то більшість його твердо вірувала в те, що Жиди несуть кару, котру наложив на їх сам Бог, розсіявши їх по усій землі, бо як би Жидам не було призначено такої покути, то з якої речі їм треба було-б такий світ мандрувати. Тільки в ряди-годи, коли по великих погромах, Жиди починали сотнями й тисячами втікати до Америки, прогресивні органи російської преси обізвуть ся з поводу свіжого факту і обережно констатують його. Через се довгий час якось ніхто не помічав другого факту, що стежками до Заходу, втоптаними Жидами, слідом за ними, почав мандрувати за кордон і наш народ, шукаючи кращого життя. З якого саме часу почала ся еміграція наших селян за кордон, переважно до Америки, хто саме став за перших піонерів сього руху і звідкіля вони вийшли, — про се не можна сказати нічого певного, бо помітили сей рух тільки останніми часами, коли він зріс о стілько, що сам собою став кидать ся в вічі. Як що не помиляємо ся, то вперше занотував його торік д. А. Ярґ на сторінках „Товарища“. Одночасно з сим заявили ся кореспонденції про еміграцію селян з України і в „Раді“. Поки що згадані дописи не дають доволі фарб для змалювання цілком усїєї картини еміграційного руху, про те все-ж таки по їх можна вже й зараз знайти чимало цікавого матеріалу для того, щоб уявити собі сю картину принаймні хоч в загальних рисах. З сих дописів знати, що до еміграції спонукають наших

селян насамперед причини соціально-економічного, а останніми часами, відколи село стало причетне до політики, — і політичного характеру; з їх можна довідати ся також трохи і про те, де еміграційний рух найбільше позначаєть ся, яким шляхом він іде, хто і як його підтримує і, нарешті — як живеть ся нашим емігрантам в „Новім Світі“. За одним можна тільки пожалкувати, що на підставі того матеріалу, котрий знаходимо в дописах, неможна подати певних цифр, котрі свідчили-б про розміри й поступенний зріст сього руху, окрім однієї хіба Київщини. Для ілюстрації того, що ми сказали про се нове і цікаве явище в житті нашого народа, ми подамо кілька уривків з деяких дописів. Ось, напр., що пише кореспондент з м. Павлоч сквирського повіту на Київщині: „Америка що далі то все більше та дужче стає тим магнітом, що притягає до себе наших людей. „Зелений клин“ вже далеко одійшов назад. Охочих виселятись у Сибір тепер і колачем не заманиш, за те Америка стає якоюсь рожевою мрією. Голодному селянинови здаєть ся, що ніби там течуть молочні річки. І от поруч з Євреями, яких що-ночі по скілька семейств „тікає“, як кажуть у нас, до Америки, виїздять туди і селяне“¹⁾.

Цікаво зазначити той факт, що треба було тільки прокинутися сям еміграційному рухові серед селян, як в туж мить, немов ті мухи на труп, біля їх почали кружляти „агенти“. „Знаходять ся — пише далі кореспондент, — якісь „благодітелі“, що дуже принадно заманюють селян в свої пазури: наприклад, якийсь „агент“ із Києва збирає охочих виїзжати до Америки і згожуєть ся доставити їх туди своїм коштом, але за се емігранти мусять працювати виключно там, де він скаже, цілих 5 років, а з їхнього заробітку одлічувати муть йому те, що він витратив на перевіз“. Не вважаючи на такі тяжкі умови, знаходить ся чимало таких, що пристають на їх, аби тільки — як каже кореспондент — вирвати ся з „рідної України“... В кінці допису сього автор підкреслює той факт, що хоч серед селян знаходить ся чимало й таких, що скептично ставлять ся до еміграції, а про те вона не то що не спиняєть ся, а навпаки все зростає. І ніби щоб потвердити свої слова не більш як через тиждень сей же самий кореспондент подає новий цікавий допис про те, що до Павлочи прийшов лист од одного емігранта, що був попереду за сільського старосту, але мусів емігрувати по тому, ж за його приводом було побито стражників

¹⁾ „Рада“ ч. 187.

за те, що вони знущають ся над людьми. Емігрант сповіщає сімю своєю, що заробляє в день по 2 долари і кличе її до себе... Приклад Варича, — додає кореспондент, — викликає багато охочих з поміж селян і вони йдуть на згоду з агентами і йдуть до Америки¹⁾.

Другий кореспондент з Таращанського повіту пише ось що: „Страшні злидні та убожество з давних-давен примушували селян нашого повіту залишати рідні оселі, і, наченивши на тружені плечі сакви, шукати по всіх усюдах заробітків. Кілька років тому таким чином де хто з селян забив ся аж до північної Америки... Сі піонери — емігранти були лехкими на руку: потім того люде добре втоптали туди стежку“...²⁾.

Далі автор допису розповідає про вельми цїкавий, свіжий факт, з котрого ми бачимо, що на еміграцію селян за кордон починає завважати вже і уряд. „Не що давно, — оповідає кореспондент, — один мировий посередник, виконуючи наказ зверху, зібрав відомости в своїй окрузі про еміграційний рух. Виявило ся, що зараз в Північній Америці живе на заробітках понад 400 чоловіка з його округи; де які викликали навіть до себе жінок і дітей. Про те, яким чином селяне дістають ся до Америки, кореспондент пише, що дістають ся вони не однаково: „одна частина їде таємно, без паспортів, а друга — за посередництвом еміграційних контор, що позасновували Євреї по містах, а головну — у місті Рівному (на Волині). Контори беруть по 125—150 карб. за приставку кожної душі. На сі гроші вони вже сами добувають паспорт, перевозять емігранта і годують в дорозі“. Заробітки мають там емігранти добрі, — по 4 долари в день. Один з їх що року нібито присилає до дому готівкою по 1000 карб. а то й більше. Нарешті кореспондент додає, що „незабаром має піти до Америки нова партія селян, котра тепер саме гуртуєть ся“.

Де кілька нових рисів до еміграційного руху дає кореспондент „Ради“ з м. Брусилова київського повіту. „Роскотилась у нас, — пише він, — поголосока, ніби прибули з північної Америки агенти і набирають охочих найняти ся піхотинцями до американського війська, за матросів на їхні кораблі, а також за робітників на різні плянтації та підприємства. Сі чутки здобувають собі багато прихильників проміж нашої молоді. Се й зрозуміло, бо тут тіснота, голоднеча та безправа, а Америка, — „блаженна сторона“³⁾.

1) „Рада“, ч. 194.

2) „Рада“, ч. 207.

3) „Рада“, ч. 214.

Далі автор оповідає, що такий погляд на Америку з'явився з того часу, як до Канади переселило ся з волости чоловіка з п'ятдесят. Стало ся ж воно таким побитом: спершу 7 чоловіка емігрували до Америки крадькома і оселили ся в Канаді. Обжившись там, вони покликали до себе свої семі, але до останнього часу не поривають звязків з рідним краєм¹⁾.

Чутки про еміграційний рух ідуть з Волини, а також і з Поділля. На Волини, як сповіщає „Вістникъ Волини“, найбільше емігрують селяне з двох повітів: острожського та новгородволинського. Останніми часами по сих двох повітах повиздило людей до Америки од 20 до 350 чоловіка з кожної волости. По інших повітах такої великої еміграції непомітно, хоча вона, — як каже газета, — останніми часами значно зросла проти колишнього. Емігрують не тільки безземельні, а й такі, що мають власні ґрунти²⁾. Що до Київщини, то про інтензивність в їй еміграційного руху свідчать ті кореспонденції, з яких ми вже подавали уривки. Але окрім того, в „Раді“³⁾ було надруковано замітку д. Майстеренка, з котрої ми довідуємо ся, що з Київщини позаторік емігрувало до Америки 886 селян. Далі ми бачимо, що еміграційний рух по деяких повітах пішов швидко й широко, по деяких повільно, а по деяких його й зовсім непомітно: з таращанського повіту емігрувало 450 д.; липовецького — 178; канівського — 160; київського — 60; уманського — 17; звенигородського — 10; сквирського — 8 і з бердичівського — 3. Про решту (4) повітів відомостей немає. Вважаючи на те, що — як пишуть кореспонденти, — чимало селян емігрують крадькома, треба гадати, що цифри сі не певні і в дійсности значно більші.

Се нове явище в життю нашого народа почала завважати і місцева власть. Принаймні д. Майстеренко в своїй замітці про еміграційний рух на Київщині пише, ніби ходить чутка, що місцева адміністрація має на думці полекшити селянам добування паспортів, а також настановити спеціальних агентів, котрим буде доручено інформування селян і всі справи і турботи звязані з еміграцією.

1) „Рада“, ч. 214.

2) „Рада“, ч. 218.

3) „Рада“, ч. 252.

МИХАЙЛО ЛОЗИНСЬКИЙ.

З австрійської України.

Польсько-українські відносини і соймові вибори.

Демократизація польської національної політики. Зближене людство до шляхти. — Загально-польський похід в українські округи. — Українські партії. — Союз москвофілів з „Rad - oю Narodow - oю“. — Виборчі надужиття. — Ослаблене опозиційно-демократичних сил. — Переміна польсько-шляхетського панованя над українським народом на панованя польське.

Як горяче дожидали й добивали ся ті українські політичні партії, які хотіли б бачити наш нарід у Галичині визволенням від теперішнього національно-політичного поневолення, демократизації загально-державного устрою! І як щиро витали й підпирали вони всякий, хоч-би найдрібніший прояв демократизму серед галицько-польської суспільности, опанованої польсько-шляхотською ідеологією, вірячи, що демократизація галицько-польської суспільности буде рівночасно руйнуванем польсько-шляхотського панованя над нашим народом!

А тепер? — Тепер польська національна політика в Галичині безперечно демократизуєть ся.

В загально-державнім парламенті вже не виступає від імени польського народу польська шляхта. В новім польським колі, яке вийшло з перших загальних виборів до парламенту, демократичні елементи, представники городської буржуазії, показали ся в більшости. Правда, ті демократичні групи, розрізнені і незорганізовані в одну цілість, дали спершу все таки перевагу шляхті, вибираючи презесом кола бувшого презеса Абрагамовича. Але се трвало не довго. Найчисленніший з демократичних груп у колі, народовій демократії, вдало ся зібрати всі демократичні елементи в одну „демократичну унію“, яка висадила Абрагамовича зі становища презеса кола (даючи йому як відшкодоване теку міністра для Галичини) і покликала на се становище лідера народової демократії проф. Гломбінського. Так польське коло з шляхотсько-консервативного стало в своїй більшости демократичне, тим більше, що крім „демократичної унії“ є в нім також дрібно-селянські еле-

менти з клерикальною закраскою, які треба також вважати демократичними.

Крім польського кола виступає в парламенті від імені польського народу клуб польських людовців, партії *par excellence* селянської і між польськими буржуазними партіями найбільш демократичної й опозиційної, — так що вона в парламенті остала навіть поза колом.

І так польська суспільність в Галичині і польська національна політика безперечно демократизують ся. Тільки від такої демократизації годі українському народови сподівати ся того, чого він ждав від демократизації польської суспільности. Та демократизація йде в тім напрямі, що разом з нею демократизуєть ся національна ідеологія польської шляхти, ідеологія польського панованя над українським народом. В міру того, як демократичні елементи доходять серед галицько-польської суспільности до політичної сили, приймають вони також польсько-шляхотську ідеологію панованя Польщі над українським народом, з тою тільки модифікацією, що коли в польській річі посполитій і до наших днів над українським народом панувала польська шляхта, то тепер до участі в тім панованю мають бути допущені що-раз ширші круги польської суспільности, цілий польський нарід. Демократизація серед польського народу, але пановане здемократизованої польської суспільности над українським народом, — така національно-політична програма польської демократії.

Сю програму відчув український нарід на собі ще підчас переведженя виборчої реформи до парламенту. Тоді вся польська демократія станула на тім, що виборче право українського народу не може бути рівне виборчому праву народу польського. Такий саме характер мають польські демократичні проєкти виборчої реформи до галицького сойму.

Факт, що провід у польським колі перейшов з рук консервативної шляхти в руки „демократичної унії“, — коли візьмемо на увагу, що в тій „унії“, має провід народова демократія, — свідчить тільки, що польська національна політика супроти українського народу стане на стільки більш агресивна, на скільки демократична буржуазія рухливійша від консервативної шляхти. А яким духом дیشه на український нарід та теперішня провідниця „демократичної унії“ і кола, народова демократія, се всім нам відомо.

Але становище польської демократії, представниці городської буржуазії, до українського питання, відоме не віднині і не віднині не лишала вона ніяких ілюзій що до свого повиністичного, україножерного характеру.

За те власне тепер, на наших очах, відбувається еволюція в напрямі польського повиністичного україножерства в таборі польських людвців. Коли хто слідив би за еволюцією національно-політичних поглядів серед галицько-польських демократичних ґруп, то все завважив би те саме явище: Доки ґрупа не має ніякої політичної сили ні значіння, доти вона, виступаючи проти шляхотсько-консервативного напрямку, серед загальних демократичних окликів виставляє також оклик національної рівноправности українського народу. Воюючи проти шляхотського правління, опираючи ся в великій частині на симпатії і фактичній політичній підпомозі української людности ґрупа росте в політичну силу і значіння. В кінці надходить хвиля, коли вона в союзі з українськими політичними партіями могла би справді стати рішачим політичним чинником в краю, могла би повалити шляхотсько-консервативне правління і почати відроджене краю на демократичних основах. Але власне в сій хвилі відвертає ся вона від своїх дотеперішних українських союзників, регабілітуєть ся з своїх українських симпатій кількома рішучими виступами проти українського народу, в яких переліцтовує всі інші польські антиукраїнські партії, і зложивши так іспит національної „благонадежности“, в союзі з дотеперішними своїми ворогами — шляхотсько-консервативним правлінням виступає до завзятої боротьби проти своїх дотеперішних союзників — українського народу.

Такий власне шлях добігають тепер до кінця польські людвці. Вже підчас переводження виборчої реформи до парламенту заявляли вони, що треба якось охоронити польський стан володіня в Східній Галичині, тільки не висловляли ся ясно, а з антагонізму до шляхти і народових демократів критикували їх проекти охорони того стану володіня. Але прийшли перші загальні вибори до парламенту, які дали людвцям — між иншим не без помочи Українців, коли ті мусіли вибирати між кандидатом людвців і „Rad-и Narodow-oi — поважне представництво в парламенті. Тепер надійшла хвиля, яку вони признали відповідною для того, щоби ввійти в союз з консервативно-шляхотським правлінням. Лідер партії Стапінський заявляє в парламенті, що коли українські посли, вимушуючи на центральному правительстві національні уступки,

посягають на польський стан володіня, то людвці виступлять проти них солідарно з польським колом. Потім прийшла друга протиукраїнська промова Сташінського в парламенті, така напастлива, така цинічна і при тім така „патріотична“ в польсько-шовіністичнім розуміню, що польська шовіністична преса, та сама преса, яка Сташінського титулувала нераз хамом і внуком Шелі, засипала його найвисшими похвалами. А з приводу соймових виборів наступив уже між польсько-консервативним правлінням і людвцями формальний політичний союз.

Вся вага теперішних соймових виборів лежить у тім, що новий сейм має перевести реформу соймового виборчого закону. Наслідком заострення польсько-українських відносин при сій реформі національно-політичний момент грає куди важнішу роль від соціально-політичного. В Українців сі два моменти зливаються в одно. Одиною силою, яка може бути носителькою української національної ідеї, є широка народня маса. У тому тільки виборча реформа, корисна для широкої маси, буде корисна також для української національної ідеї. Инакше в Поляків. Всяка виборча реформа, корисна для народньої маси, мусить ослабити польський стан володіня таж, де він держить ся виключно привілеями польських висших суспільних верств. І хто хоче далі вдержати або ще й розширити польський стан володіня, той мусить допустити ся безправства на українській народній масі.

Всі польські партії, з виїмком соціально-демократичної, показали зовсім ясно, що їм ходить перше всего не тільки о збережене, але ще навіть о скріплене і розширене польського стану володіня, через що в їх змаганя до соймової виборчої реформи соціально-політичний момент на останнім пляні, коли перше місце займає момент національно-політичний. Звісна-ж річ, що уклад національно-політичних сил у сеймі на основі виборчої реформи залежний в першій мірі від того, який буде уклад національно-політичних сил в тім сеймі, що переводити-ме виборчу реформу. Через те головним тереном виборчої боротьби будуть власне сільські округи східної Галичини, ті округи, які можуть вислати до сейму 46 українських послів.

Все, що переняте національною ідеологією шляхотської Польщі, Польщі, яка повинна панувати над українським народом, готувить ся до сього виборчого походу в українські округи.

Перед веде „Rada Narodowa“, наслідниця шляхотського „Центрального Комітету“, що вже стільки разів переводив вибори

в українській частині краю з користю для польського стану володіння, переводив такими способами, що не тільки серед українського народу, але й серед польських опозиційних партій став популярним під назвою „Комітету для виборчих розбоїв“. Як відомо, зараз після назначення виборів „Rada Narodowa“ видала довіроче припоручення до всіх своїх організацій в Східній Галичині, заявляючи, що „вибори до сойму вимагають зєдинення і напруження всіх польських сил в Східній Галичині, „та що“ в сій справі існує порозуміння всіх партій, що стоять на національнім ґрунті. Опісля-ж, в другій половині січня, видала „Rada Narodowa“ публичну відозву до виборців, у якій виславляє 40-літню діяльність галицького сойму і звертаєть ся проти українських партій з довгою обороною дотеперішньої політики сойму в українській справі, доважуючи, що сойм як найліпше дбав про українські справи.

Становище „Rad-y Narodow-oї для нас не дивне. Вона-ж заступає інтереси польської шляхти; а що оборона польського стану володіння в Східній Галичині мусить бути рівночасно обороною політичних і соціальних привілеїв шляхти, то її становище, повторяюмо, зовсім зрозуміле.

Тільки відома річ, що „обороняти польський стан володіння в сільських округах Східної Галичини“ без виборчих насильств годі, бо як-же инакше довести до того, щоб з округа з подавляючою українською більшістю вийшов послом польський поміщик?!

І тут власне на нашу думку лежить головна причина, чому народова демократія вийшла з Rad-y Narodow-oї на час соймових виборів. Народова демократія готуєть ся обняти після шляхти політичну спадщину в соймі так само, як обняла її в польським колі. І як „партія будучности“ не хоче вона, щоб до неї прилип закид виборчих розбоїв, до неї, що домагаєть ся зменшеня української політичної сили в соймі законним шляхом, при помочи такого виборчого закона, який не давав би українському народови законної змоги вибрати число послів, більше над мінімум, зовсім нешкідливе для польського правління в краю. І так, не хотючи брати на себе відповідальности за виборчі насильства, народова демократія на час соймових виборів вийшла з Rad-y Narodow-oї. Але рівночасно заявила, що в імя національної солідарности підпирати-ме скрізь в Східній Галичині кандидатів Rad-y Narodow-oї всіма „законними“ способами.

Та найбільш характеристичне для теперішньої польської національної політики те, що „Rad-y Narodow-y в українських округу-

гах підпиратимуть також людвці. Між людвцями і шляхотсько-консервативним правлінням заключено такий союз, що в західній Галичині всі сільські мандати, з виїмкою кількох, дістануть ся людвцям, а за те людвці допоможуть Rad-i Narodow-ий в Східній Галичині. А після виборів партія людвців в австрійським парламенті вступить до польського кола, а в соймі працювати-ме в порозуміню з шляхотсько-консервативним правлінням. Тепер мов на коменду найвисші урядники краєвих автономних інституцій (прим. д-р Стефчик, директор райфайзенських кас, Кендзьор, директор краєвого бюро для меліорацій), а також деякі поміщиви вступають до партії людвців і кандидують від її імени.

А орган людвців „Kurjer lwowski“ не тільки зсолідаризував ся зі становищем відозви Rad-и Narodow-oi супроти українських партій, але ще зробив їй докір, чому вона не зазначила „з більшим натиском, що в культурно-національним інтересі Українців лежить повна і нерозривна політична єдність з Поляками, бодай в границях Галичини“. За такий короткий час людвці так переняли ся національною ідеологією польської шляхти, що доворяють за недостатку тої ідеології Rad-i Narodow-ий, тій раг excellence носительці національно-політичних ідеалів історичної Польщі.

Ось-так зєдиненими силами йдуть усі польські партії, з виїмком соціальної демократії, походом в українські виборчі округи. Якже готовить ся український нарід відперти той напад зєдинених польських сил?

На скільки можна вносити з дотеперішнього перебігу акції, між українськими партіями мабуть не прийде до виборчої боротьби. Доси тільки в двох округах висунені проти себе кандидатури українських партій (в Самбірським повіті національний демократ д-р Андрій Чайковський, підпираний також українською соціальною демократією і радикал Михас; в Станіславівським повіті радикал Корольок, підпираний також українською соціальною демократією і національний демократ з клерикальною закраскою о. Баріш); зрештою виставляють вони кандидатури так, щоб одна партія не мішала другій. Національні демократи виставили до кінця січня 32 кандидатури, радикали 8, соціальні демократи 2.

Виборча програма всіх українських партій менш-більше однакова: виборча реформа до сойму на основі загального, рівного, безпосереднього і тайного голосованя — з таким числом мандатів для українського народу, яке відповідало-б його чисельній силі в краю.

Але українські партії мусять звести виборчу боротьбу не тільки з польським набігом, але і з домашнім ворогом, з москвофілами.

Не можучи власними силами побороти українського національного руху, видячи його зріст і свій занепад, москвофіли, ратуючи ся від смерти, рішили обернути ся за підмогою до Поляків. Сей польско-москвофільський союз підготовляв ся вже від кількох літ. Москвофільська партія виступала проти аграрних страйків, ведених українськими партіями, держала ся пасивно підчас руху за виборчою реформою до парламенту, виступала проти українських кандидатур з консервативно-клерикальною програмою підчас останніх виборів до парламенту, а в парламенті москвофільські послі не тільки виступали проти українських національних домагань, але в деяких випадках йшли просто пляново з польським колом проти українського клубу.

І Поляків і москвофілів лучить ненависть до українського національного руху, грізного і польському станові володіння на українській землі і москвофільським обрусительним змаганям. При тім інтерес польського стану володіння на українській землі каже Полякам оберігати соціально-економічні інтереси польських поміщиків перед українським народом, який під проводом українських партій бореть ся не тільки за національно-політичне, але й за соціально-економічне визволене. А консервативне москвофільство не тільки не загрожує нічим тим поміщицьким соціально-економічним інтересам, навпаки, воно ще оберігає їх, представляючи народові всі новочасні соціально-економічні змагання народніх мас ділом мало не самого чорта і подаючи на всі соціально-економічні болі дуже вигідні для поміщицьких інтересів рецепти, як молитва, праця, опадність, тверезість і т. д. Через те зрозуміла річ, що між Поляками — не тільки між польсько шляхетським правлінням Галичини, але з огляду на оборону польського стану володіння й між польськими демократичними елементами — й москвофілами мусіло прийти до зближення.

Ріжниця тільки в тім, що від того зближення Поляки виграють, бо небезпечний для свого стану володіння український національний рух ослаблять, а обрусія Галичини не мають чого бояти ся, значить, загалом беручи, ослабляють національну силу і зідпорність українського народу і скріпляють свої позиції на українській землі, — коли тимчасом москвофіли не виграють нічого, — бо ж коли обрусительна політика супроти українського народу банкрутує

в Росії, при засобах російського правительства, то тим більше без-
 виглядна вона в Галичині, — а тільки допомагають Полякам осла-
 блювати ту силу, яка одна може оперти ся польському набігови
 на українські землі, — український національний рух. Але галицькі
 москвофіли знаходять ся в стані такого упадку і разом з тим
 в стані такої сліпої ненависти супроти тої сили, що спричини-
 ла їх упадок, супроти українського національного руху, що для
 продовження свого політичного животія і для ослаблення тої не-
 нависної їм сили вони готові на все, навіть на союз з „Rad-ом
 Narodow-ом“.

„Галичанинъ“ голосить явно, що для „русско-народной идеи“
 не страшна Польща, тільки „українській сепаратизмъ“, який являєть
 ся „самымъ большимъ и единственнымъ врагомъ для Руси“. Вибор-
 чий маніфест москвофільської „Русской Ради“ заявляє, що москво-
 філам „не страшна боротьба съ польскимъ народомъ“, з яким вони
 будуть бороти ся „какъ народъ съ народомъ открыто, культурно и
 честно за народное дѣло“, та що „близко уже время, когда братъ
 Ляхъ проникнется сознаниемъ, что не въ борьбѣ съ Руссомъ буду-
 щее Польши, а въ тѣсномъ единеніи и въ общей съ нимъ любви
 къ Славянству“, — але за те „безпощадно сразится русскій народъ
 съ домашнимъ своимъ врагомъ, съ народнымъ сепаратизмомъ“,
 з яким „можетъ битъ лишь борьба на жизнь и смерть“.

Такі теоретичні заяви москвофільства, а в практиці йде без-
 соромне єднане москвофільської партії з „Rad-ом Narodow-ом“. Для
 характеристики два приміри: в жидачівському повіті москвофільський
 кандидат о. Сенік виголосив на польських зборах, скликаних для
 запротестованя проти антипольських проєктів у Пруссії, промову,
 в якій—як доносить „Dziennik polski“ — „накликав Русинів, щоб
 забули на тепер про внутрішні спори з Поляками і виступили разом
 з ними до боротьби з прусацтвом“, та висловляв надію, що „два
 братні народи зуміють погодити ся на всіх полях, і по здавленю
 нерозумного, на шовінізмі та амбіції одиниць і найгірших інстин-
 ктах темної товпи опертого українського руху зуміють край довести
 до цвітучого стану“. Ефект сеї промови був такий, що „Rada
 Narodowa“ не виставляє в жидачівському повіті власної кандидатури,
 тільки підтирає о. Сеніка, — а в Богородчанському повіті діють ся
 чи не найбільші з цілої Галичини виборчі надужитя, щоб повалити
 кандидатуру українського соціального демократа д-ра Новаковського
 та промостити шлях москвофільській кандидатурі судового радника
 д-ра Криницького, чоловіка, що доси поза урядовою службою нічого

більше не знав, а в приватнім житті для москвофілів був москвофілом, а для Поляків Поляком, з тих „gente Rutheni natione Poloni“.

Ось — так побороючи український національний рух, москвофіли ставлять в усіх українських округах свої кандидатури. Там, де сподіваються на підставі порозуміння з „Rad-ом Narodow-ом“ перевести вибір свого кандидата, там ставлять своїх лідерів (д-ра Дудикевича, д-ра Маркова і т. д.), а в усіх інших округах ставлять селян, щоб під демагогічним окликом селянської кандидатури відірвати як найбільше голосів українському кандидату, ослабити тим вигляди української кандидатури, а при тіснішій голосованню або здержати ся від голосовання або віддати свої голоси кандидату „Rad-и Narodow-oi“.

Таким чином при теперішніх сеймових виборах польський поход в українські виборчі округи мав-ме союзника в галицьких москвофілах: історична Польща і агенти „единой, недѣлимой Россіи“ йдуть разом на знищення українського національного руху.

Та коли б вибори переводили ся безсторонно, по закону, коли б адміністрація сповняла при виборах тільки те, до чого вона покликана законом, а не була найважнішим оборонцем польського стану володіння на українській землі, то сей поход не був би небезпечний для українського народу. Але сей поход значить кожний свій слід виборчими надужиттями і хитрощами і насильствами, тим оружжям, яким було здобуте й держить ся аж до наших днів польське пановане на українській землі. З цілої дотеперішньої виборчої акції ясно видно, що в з гори означене число українських округів, де мусить вийти кандидат „Rad-и Narodow-oi“ або москвофілів. В тих округах всі урядові виборчі чинности, се тільки брутальне топтание закона і провокація українського народу. Дарма, що як раз перед виборами намістник Галичини видав до всіх адміністраційних властей окреме припоручене, щоб вони в своїх відносинах до українського народу держали ся точно закона. Бар. Бек в переговорах з парламентарним українським клубом обіцяв, що намістник видасть таке припоручене і обіцянку сповнено. Але бар. Бек не обіцявав, що галицька адміністрація такого припорученя послухає. А галицька адміністрація має свої окремі „закони“, яких держить ся в своїх відносинах до українського народу, очевидно, також не без відома і волі намістника. Тільки виданем сих „законів“ намістник публично не хвалить ся, як похвалив ся згаданим припорученем, виданим буцім то в користь Українців. Ні,

український нарід відчуває тільки на своїй шквірі, що такі „зако-ни“ є і що вони виспіі всего.

Серед таких обставин, де не може бути мови про законність виборів, не може бути також великих надій на успіхи виборчої боротьби.

Можна бути майже певним, що ані національно-політичний ані соціально-політичний уклад сил у будучім соймі основно не змінить ся. Правда, українських послів вийде може значно більше, ніж було їх у бувшій соймі, але вони будуть у соймі зовсім відокремлені. Вийде також значно більше людовців, але се вже не буде та опозиційно-демократична сила, що в бувшій соймі, тільки союзники консервативної шляхти.

„Rada Narodowa“ хитро взяла ся до діла. Заключивши в західній Галичині союз з людовцями, може вона всю свою силу перекинути до східної Галичини, в українські округи, де крім того має запевнену поміч всіх польських демократичних партій, від народової демократії до людовців. Таким способом здобуде вона в сільських округах певне більше мандатів, ніж здобула би, воюючи на два фронти, і в польських і в українських сільських округах. А маючи крім того запевнені всі мандати в курії великої земельної власности, може певне числити на більшість в новім соймі. Як відомо з дотеперішних відносин, городська демократія мало чим різниться ся від шляхетсько-консервативного напрямку і прим. в справі соймової виборчої реформи між сими двома напрямками прийшло вже до згоди. Серйозну опозицію в обороні інтересів народніх мас могла би творити тільки коаліція українських партій і польських людовців. Але польсько-шляхотське правління зрозуміло небезпеку і приєднало людовців для себе, а українські партії, зовсім відокремлені, супроти подавляючої польської більшости, не матимуть досить сили, щоб перешкодити чи шкідливій для народніх мас виборчій реформі, чи иньшим працям сойму.

Ось так людовці, за ціну союзу з консервативною шляхтою, ослабили значно позицію народніх мас у будучім соймі. Оклик оборони польського стану володіння вийшов на користь тим, хто боронячи його, боронить своїх соціально-економічних інтересів, польській шляхті, а на шкоду народнім масам.

Се загальні виводи, які насувають ся з приводу теперішньої виборчої боротьби. А виводи для польсько-українських відносин?

Як уже зазначено на початку, разом з демократизацією польської національної політики в Галичині демократизується також

національна ідеологія польської шляхти, ідея пановання історичної Польщі над українським народом. Тепер ми стоїмо перед фактом, що під прапором історичної Польщі виступають проти нас усі польські політичні партії з виїмком польської соціальної демократії, яка, як показали вибори до парламенту, з усіх польських партій найменше має сили, і яка при тім, як се видно з цілої її до-теперішньої теорії і практики в національній справі, не може рішити ся, чи стати під прапор національної рівноправности, чи під прапор історичної Польщі, прибравши його в соціалістичні обслонки. В кождім разі трудно надіяти ся, щоб соціяльна демократія, маючи до вибору між боротьбою з цілою польською суспільністю за справедливе становище в українській справі і впливом серед польської суспільности за ціну національного опортунізму в українській справі, вибрала перше.

Так на наших очах польсько-шляхетське пановане над українським народом перемінюеть ся в пановане польське. Та демократизація загально-державного устрою і з окрема польської суспільности, якої так добивав ся і так ждав український нарід, принесла далеко не ті овочі, яких він сподівав ся...

В. ПІСНЯЧЕВСЬКИЙ.

З російського життя

(Петербурзькі листи).

Минув іще один тяжкий рік в життю великої держави. Скінчивсь іще один акт великої народньої трагедії. І оглядаючи його останні події — останні місяці, дивиєш ся як міцно старий лад встиг скрутити і опутати новими „предохранительними зв'язками“ новонародженні народні іституції; як швидко повернув він на роботу пануючим верствам старі земства, суди; як відважно він користуєть ся послугами старих, вічно вірних йому рабів і як сміло вимагає він „безпрекословного повиновенія“ од заблудивших в дні свободи і тепер кающих ся в своїх прегрішеніях своїх опор і стовпів — дворянства і купечества.

В останні місяці виплила на сцену третя Дума. І стала покірною слугою самодержавної бюрократії. Чи здійснить бажанне премер-міністра Столипіна, його мрію — здобути собі таку чудотворну кнопку, надавивши котру, можна б було в одну мить повернути по своїй волі все жите великої країни, — сказати напевне поки що трудно. Але що раз вже премерови удалось таки повернути течію життя вспять, в старе кріпацьке русло — се ми вже бачимо. Ні для кого не секрет, що під час третьої виборчої кампанії кандидати на депутатів намічались з Петербурга. І не з партійних центральних комітетів правих партій або навіть союзу руского народа, а з сфер міністерських і близьких до них. Там концентрувались всі ниточки виборчої кампанії. І на місцях відповідальність за те, що проходили поступовці, а не праві, падала не на правих лідерів, а на низшу адміністрацію. Під час третьої виборчої кампанії на її плечах лежав обовязок не тільки оберегати „общественную тишину й спокійствие“, а й слідити, щоб в Думу не пройшли крамольні депутати. І недаром третя Дума головною задачею своєю вважає охорону народу од крамоли. Ті нечисленні поступові елементи, що виявились в Думі за два перші місяці її життя, пройшли або під поліцейським соусом або проскочили через недогляд начальства.

— Аж тепер посилаю Вашому Високопревосходительству настоящих „благодѣтельных“ депутатів! — з гордостю телегра-

фував подільський губернатор премер-міністрови П. А. Столишинови, почастувавши „новообраних“ подільських депутатів смачним губернаторським обідом і взявши з них присягу бути по гроб життя вірними монархичному устрою і вічно стояти горою за нього. В тім — „посилаю“ народніх послів — була гірка іронія над російським парламентом. Але разом з тим в нїм ховалась і глибока правда. Губернатор зовсім не переборщував, коли назвав одинадцять подільських орлів своїми, а не народніми депутатами. Він їх вивів в люди. Під його приводом і за його власне ініціативою склалось відоме на Поділлі „Подольское Свято-Троицкое Братство“. З його благословенства в нього ввійшли люди, котрим законом брати участь в предвиборчій агітації строго заборонено — віце-губернатор, директор народних шкіл, председатель суду, управляючі банком, казенною і контрольною палатою, місцеві архіереї і т. ин. З йогож коли не отвертої, то всеж таки і не секретної волі, місцева поліція розповсюджувала прокламації того братства, організувались чорносотенні зїзди пошів і панів; він виїзжав туди, де на виборах могли проскочити неблагонадежні депутати. З його відома „працювали“ місцеві ісправники, посредники і пристава.

Коли в Гайсинськїм повіті Поділ. губ. селяне знов хотїли вибрати від повіту б. депутата другої Думи Семенова, то поліція з початку заперла його в будигарню, а потім на сході заявила селянам, що вони не сміють вибрати Семенова, бо сього начальство не хоче. І селяне, щоб не викликати біди на земляка, мусли послуhatись попечительного начальства. Але бідного, напівграмотного, зовсім недалекого і безпечного селянина, Семенова, яким я та й всі його товариші по другій Думі знають, губернатор всеж вислав в Вологодську губернію, обрївши його самого і ні в чім неповинну сімю його на голодну смерть.

Та не тільки подільський губернатор, а вся наша адміністративно-поліцейська власть могла б гордо сказати: ми послали депутатів в третю Думу, а не народ. Коли навіть праві виборщики зрїклись вибрати в губернії славнозвісного Шмідта, мінська адміністрація з допомогою архіерея піддурила селян обіцянкю, що їм Шмідт одвоєе в Думі землю польських дїдичів, і таким чином поставили таки на своїм — обрали Шмідта в Думу, а вона тепер не знає яким би робом скараскатись тої цяці. В Полтаві „искусственный подбор“ приемних адміністрації депутатів робивсь ще простїйше. За скілька день до виборів поліція по приказу заарештувала тих виборщиків, що могли своїм авторитетним впливом по-

вернути „исход“ кампанії не в сторону властей предержажих. Сайка, котрому вдалось сховатись до самого дня виборів, забрали з гостинниці на передодні і курієрським поїздом одправили аж в переяславську тюрму, примовляючи по дорозі: „ми тобі покажемо такий сякий сину, як у Думі гетьманів споминать!“ На другий день після виборів його випустили, але з тим, щоб виїхав „за предѣлы“ губернаторської досягаемости.

Що могло вийти з такої діяльності, окрім теперішньої „работоспособної“ Думи? Вона плоть од плоти старого поліцейсько-бюрократичного ладу. І з дня зачаття свого була призначена вже тільки на службну ролю. Дарма бюрократичні наймити викликували, що в третій Думі зібралась краса і сила старого земства. Дарма вони співали панеґірики її „работоспособности“. Проминуло два місяці. І з тої „работоспособности“ не лишило ся і сліду. Навіть міністерська „Россія“ мусіла згодитись, що панеґіристи переборщили. Самих примітивних міністерських законопроектів не зуміла вона по людськи прожвакати і мусіла вертати їх знов в комісію. Єдиний власне закон прийнятий Думою, який пройшов через Раду Державну і тепер уже затверджений Височайшею властю — закон про асігновку скількох мільонів, має в собі стілько дефектів, що навіть Рада хотіла його забракувати і коли не забракувала, то тільки через ту „нетерплящую отлагательства“ справу, для розв'язання котрої він був утворений.

Ми не кажемо вже про те, що власна ініціатива думських організацій за весь час проявилась хіба що тільки у внесенім правимі запросі про університетську крамолу. Тоді як в перших двох Думах число депутатських законопроектів мало не рівнялось з числом міністерських, прогресівні групи „обрѣчені“ тут на „бездѣйствие“ в сфері законодавчої ініціативи: що-б не внесли вони зараз, при теперішнім архіреакційною настрою^а центра і правої, воно завчасу присуджене на смерть. Центр же і праві в самім складі своїм інертні. Не вважаючи на те, що в третю Думу ввійшли представники тих верств, котрі з такою злобою і ненавистю лаяли перші дві Думи за їх неработоспособність, не вважаючи на їх хвалену „работоспособность“, вони не можуть обійтись без сильної запомоги з лівого боку, з боку представників організацій, що так властно панували в перших Думах. І при всій своїй антипатії, вони на сам кінець таки признаються в своїй не силі. „Я мушу признатись, заявив недавно один із видатніших думських центровиків барон Черкасов, — що мій погляд — погляд на

перші Думи, як не здатні до роботи, не справдився при найближшій роботі в Таврійському дворці. Нам довелося в чималій мірі використовувати роботу своїх попередників і між иньшим наказ прийняти майже цілком“. Поки що вони самі про себе кажуть, — „на ділі прийшлося переконатися, що в такий короткий час, як півтора місяця, великої роботи зробити було не можна“. Але чи зробила вона хоч невелику роботу, хоч те, що зробили за сей час перші дві Думи: чи диференціювалась вона по людськи? Ми і сього сказати не можемо. Як відомо ще більше, ніж „неработоспособности“ перших двох Дум, російські зубри нелюбивали в них партійного „столпотворенія“. До того нелюбивали, що коли тепер влада законодавча перейшла в їх руки, то було доручено думському голові Хомякову кинути в своїй першій промові обвинувачення лівим в партійнім сектанстві. Але на другий же день і в зубрячій Думі почалося ще гірше „столпотвореніє“, ніж в перших двох. Пурішкевич організував свій союз, Атаназевич — якусь православну партію, граф Доррер великоруську національну, Шмідт — істинно-руську україну, Крупенський — умеренну, Гучков стягав октябрістів, Єфремов — прогресистів і т. д., і т. д. А на самкінець — „возь и нынѣ там“.

І поки що партійне групування в третій Думі, що так необхідне в парламентській роботі, через півтора місяця її роботи зовсім не одрізняється від того партійного поділу, який описав в своїх „помпадурах і помпадуршах“ прозорливець Щедрін. Читателі мабуть памятають, що і у Щедріна, як і в нашій дворянській Думі, дворяне Семіозерського помпадурства ділилися на „красних“ і „консерваторов“. „Разногласіє“ між ними було не велике. Перші казали — „отдыхай, но по временамъ мужайся и шествуй впередь!“, а другі їм відказували: „шествуй впередь, но по временамъ мужайся и отдыхай!“ І настільки воно було не велике, що як би не внутрішні „развѣтвленія“ окремих фракцій, то діло розяснилось би само собою. А таких „развѣтленій“ було чимало. У одних консерваторів їх було аж три: „маркизы“, на чолі котрих стояв граф тільки не Бобринський, а другий „парижанинъ“ якийсь Козельский, головною заслугою котрого були „грася“; „крѣпкоголовые“, що уславилися, як і треті — партія „умѣренныхъ правихъ“ Крупенського, „необычайной громадностью кулаковъ, дикою непреклонностью убѣжденных и способностью производить всякого рода манифестации т. е. кричать „ура!“ и зыкомъ наводитъ трепетъ на противниковъ“. Як тут так і там „самые отважные люди другихъ партій приходили в сму-

щеніє передъ свирѣпими взглядами этихъ новыхъ ээіоповъ“. Кому доводилось бувати хоч під думською огорожею в часи засідань нашої високої палати, той мав змогу переконатись, що Щедрінські „маркизи“ і „крѣпкоголовые“ не тільки не перемерли, а „преблагополучно“ возсідають в третій Думі і навіть збирають ся „шествовать вперед“, а поки що тільки „мужались и отдыхали“. За ними разом „мужались и отдыхали“ и „красные“. Тоді вони ділились на „стригуновъ“, що мріяли про „возрожденіє“ і через се дуже багато балакали про ргісірес; на „скворцовъ“, що власних поглядів не мали, а терлись коло стригунів, і колиб не теорії стригунів про місцеve самоурядованне і т. ин. що держали „скворцовъ въ постоянномъ страхѣ“, то може б і ззіялись з першими, — і ще на „плаксь или канюкъ“, котрих як і в третій Думі, те ж було не багато. У Щедріна всі вони тільки „отдыхали“.

Коли ся вся компанія перестане „отдыхать“ в третій Думі, кине розмову про ргісірес і перейде до діла, трудно сказати. А поки що воно нагадує одну нашу російську інституцію, над котрою так весело і дружно недавно сміялись в бюджетній комісії члени тоїж таки третьої Думи — над ученим комітетом, на котрий щорічно йде більше пятдесяті тисяч карб. Депутати — контролери поцікавились знати, що ж роблять учені мужі того комітету, що получаютъ трохи не по 9-ть тисяч щорічно. Виявилось, що нічого. Один з них, що був посланий в комісію давати від міністерства „обьясненія“ признавсь, що ті вчені мужі тільки 5-ть разів на девять років і засідали. Робота, яка в, робиться зовсім чужими людьми, на гонорар котрим те ж тратять ся тисячі. Члени комітета збирають ся тільки для того, щоб „почтить вставаніємъ“ померших колегів. Такі „обьясненія“ ученого мужа навіть „ефіопів“ здивували і розсмішили. На жаль між ними не знайшлося Гоголівського городничого, котрий би подав їм свою репліку — „і чого смієтесь? Над собою смієтесь?“ Бо коли члени ученого комітету умудряють ся дурничее просиджувати по 50-ть тисяч в рік кровних народніх грошей, то поліцейські посла за два з чимсь місяця з небільшою продуктивністю просиділи більше трьохсот тисяч. І нехай би тепер Крупенський з Пурішкевичем, що так любили другій Думі нагадувати про депутатські діети, згадали своїм „крѣпкоголовим допотопним“ про народні гроші.

З неменьшою продуктивністю для народньої кишені засідала в третю уже сесію і верхня палата — Державна Рада. Окрім властивого їй по самій натурі і складу призначення „отдыхать“, вона

повинна б має і ще „шествовать“ назад в порівнянню з Думою, щоб своїм заднім ходом „умѣрять не в мѣру либеральную“ нижню палату. На щастє, їй поки-що не було зовсім роботи. І члени її мусіли volens-nolens виконувати тільки перший пункт своєї програми.

Під могутий храп богатырів духа, що засідають в наших верхній і нижній палатах, під молодечий свист, вигойкування і завивання різних істинно-руських соловіїв-розбійників, що з реакційною темрявою знов опанували широкими шляхами російського життя, виникло і щезло непомітно питання дуже важне само по собі — про нову конституційну декорацію старого ладу — про церковний собор. І хто знає — тужити чи радіти нам треба над його скоропостижною смертю ще во утробі матерній.

Думка про церковний собор назріла і втілилась в велике число вселяких петіцій і депутацій ще во дні свободи. Кращі сили нашої церкви разом зо всім суспільством повели боротьбу з старим режимом. І піддавшись їх дужому напору, верховна власть обіцяла скликати той собор. Але минали дні, минали ночі. „Горизонти“ заволѣгались хмарами. Старі пенати потріпані революційною бурею, повичухувались трохи. І замість собора російська церква получила предсоборне „присутствіє“ з чорносотених архієреїв і скількох напівпьяних, напів-тверезих професорів, для котрих собор самий був стілько-ж цікавий, скілько для пса пята нога. Мудре „присутствіє“ хоч сиділо не одні три дні, а цілі місяці, все ж таки умудрилось висидіти тільки старі злидні — купи непотрібного паперу. Знов появил ся Височайший указ про те, що собор буде скликано в Москві, але коли — умовчувалось. Бо в сей час ще не знали що дадуть треті вибори.

Треба сказати, що офіційальною метою правительства при виданню тих указів було заспокоєнне країни за допомогою духовенства. До сього мав же і собор прямувати. Коли жили перші дві Думи, правительство не мало ніякої надії на те, що і собор церковний не вдарить ся в опозицію по приміру Дум. Коли ж був виданий закон 3-го юня і в сферах твердо стали надіяти ся на чорносотену Думу, то і погляди насклад і напрямом собора змінили ся. Але зявилась третя так бажана і так мила всім ефіопам Дума. Здавалось би — чого ж і ще чевать. Скликай собор тай годі. І кози будуть цілі і вовки ситі. І духовенство заспокоїть ся, і „видімість“ соблюдена буде. Та ще й правила про вибори на собори

такі гарні, що крамольник, хоч би і пройшов, то значіння ніякого мати не буде, бо рішальний голос в ділах соборних по закону матимуть тільки архієреї. Та перед сферами встала нова мара. Воно побачило, що навіть духовенство третьої Думи помандрувало здебільшого в опозицію, а до урядового собору так і все поголовно відносить ся, щоб не сказати більше, дуже скептично. І повернено фронт в зовсім иньший бік.

Та крім офіційальних урядових міркувань, були „види“, перешкоди і мотиви на скликанне його і у приватних особ. І в залежності від їх настрою і рахунків в ту чи иньшу хвилику, справа то відтягалась то прискорювалась. Як відомо з думкою про церковний собор було тісно звязане бажання декого відновити патріяршество Росії. Кандидатом намічавсь Антоній митрополіт петербурський. І пови його шанси стояли високо, доти і справа з собором посувалась. Сам владика — людина дуже дипломатична. По своїм поглядам він належав більше до так званих Треповців при дворі. Як чоловік розумний, він завсїгди був проти крутого повороту вправо. І треба признати йому справедливість — завсїгди колядував проти реакційної завірюхи, наскільки до його голоса прислухались. Натомість другі претенденти на патріяршество — як Антоній волинський або Володимир московський, що менше мали шансів по своїм служебнім рангу, не гидували підтягати і піддержувати самі чорносотенні колядки. І в часи повороту в сферах до глухої реакції своєю еластичністю більше припадали до серця, особливо Володимир — улюбленець Олександра III.

І в останні часи, коли сфери занадто круто взяли вже вправо, Антоній петербурський, хоч і зійшов до того, що став годитись з союзниками, котрих він раньше терпіти не міг і з котрими провадив тяжку війну, але був принципіально проти реакції, через те і відпав ласки її представників. Його місце заняв Володимир.

Характерно дуже те, що опала вилася в занадто різкій формі. Митрополіт не хотів би мати в синоді яро-чорносотенних архієреїв. І останній указ про новий состав синода було видано навіть без його і обер-прокурорського відома. Ним в синод назначались тільки такі єпископи, котрі на всю Росію вславились своєю реакційністю, як Гермоген саратовський, Володимир московський, відомий Олексій і ин. І навіть наперекір традиціям — не брати білого духовенства, в сей раз призначено „присутствовать“ славетного отця Іоанна Кронштадського. Такіж „ліберали“, як Сергій фінляндський, Арсеній псковський — получили „одставку“

сі за останні дні, а хто ще раніше трохи. Антоній зі всього того „захорував“. І мабуть не сьогодні завтра поїде „лічитись“ на Кавказ з тим, щоб більше не вертатись на старе місце. А новий синод буде засідати під проводом Володимира московського, до котрого перейшли обовязки первоприсутствующого і котрому вже давненько передані всі діла церковного собора. І тепер, коли патріарший посох буде усміхатись Володимирови — справа зі скликанням церковного собору, од котрого він чекає напевне помазання на патріаршество, встане на чергу і ми скоро матимемо ще третій „отдыхающий“ департамент, вже духовних діл; коли-ж фортуна і сьому владиці покаже спину і який небудь Гермоген або Антоній Храповицький і його перечернить, то і російська церква не діждеть ся свого „оздоровлення“.

Сервілізм і „подхалимство“ з божої ласки пройшли не лиш в цілі з давних давен сфери, а і в старі оплоти російського лібералізму — суд, земство і навіть в пресу. Вони заповнили все жите російське зверху до низу. Обиватель тремтить і трясеть ся перед міністром, а міністерська душа тікає в пяти від одного зичного покликуну отбросів культурного суспільства. Історія з остракізмом Кауфмана і Герасімова — се найкращий показчик того, до якого безглуздя може дійти реакційний рух, найкраща ілюстрація нашої конституції навиворіт. В дні свободи був вславивсь на всю Росію попечитель оренбурського округу Заіончковський, ославивсь тим, що дуже енергічно копав ся під тюфяками гімназістів, дуже акуратно вивертав і обшукував їхні ранці і кешені. В свій час преса urbi et orbi оповістила про його славетні вчинки. І під натиском „общественного мнѣнія“ д. Заіончковського здали в архив. І от останніми днями в „Новом Времени“ появляеть ся ціла низка статей Меньшікова проти Кауфмана і його товариша і в перемішку з добірною лайкою співаєть ся чогось панегірик тому ж таки Заіончковському і маловідомому попечительови московського, а потім варшавського учебного округа Шварцови. Довго обивательська публіка, що звикла ворожити про нові скорпіони і бичі для конституційної Росії по нововременській гуці, не могла втямки взяти — де собака закопана? Аж ось появилсь в органі екс-міністра Федорова тава коротенька заміточка: „Статі співробітника „Нового Времени“ Меньшікова, присвячені характеристиці міністра народньої освіти і взагалі сьому міністерству, се перевлад і перефразировка записки колишнього попечителя оренбурського учебного округа Заіончковського. Його записка була представлена в виспі

правительственні круги, де зробила дуже сильне вражіння, через що і вийшли „в отставку“ міністер народньої освіти фон-Кауфман і його товариш Герасімов“. І діло стало ясне, як божа роса. Досить було одного доноса патентованого чорносотенця, щоб все міністерство пішло перевертом. На місце Кауфмана вплив при завчасу прихвалений Шварц, а намісць Герасімова, як сповіщають газети, має піти ніхто иньший, як той же самий Заіончовський...

„На тобі небоже, що тобі не гоже!...“ можна перефразувати народню премудрість.

Колись треба було цілої баталії з боку суспільства, щоб звалити таку шишку, як Заіончовський. Тепер досить було пригадати сферам про стару травлю на сього типа, як „мнѣніе“, уже новременського „общества“, взяло верх, і Шварц касує всі піркуляри двох останніх міністрів і збираєть ся видати нові, зовсім в протилежнім дусі. Вдумайтесь, читачу, в самий факт сеї метаморфози. Важно не те, що Шварц заняв пост міністра; і не те, що місяць перед сим портфель народньої освіти в Росії мало не опинив ся в руках напів-божевільного Пурішкєвіча. А важно те, що „сильная власть“ зоймає і трусить ся перед тою самою чорною сотнею, котру вона в свій час так викохувала на загубу революційного руху. Важно те, що зі страху, як би державне стерно не попало в руки „лѣвыхъ демократовъ“, як в свій час сфери величали кадетів і лівих, вони його полишили фактично вже не демагогам навіть, а просто хулїганам з правої, для котрих крім власної шкури — нічого дорогого не має. Ось ще одна ілюстрація сього „раболѣпія“ величних верхів перед тими подлими, в справжнім розуміню слова, низами.

Одеський попечитель під впливом чорної сотні вгрів аж піснадцять „донесеній“ по начальству на новоросійський університет. Хто вдохновля округ на такі „подвиги“ добрі — свідчить хоч такий випадок. В вересні в одеськїм університеті мала відбутись студентська збірка для обміркування „іюльських временних правилъ“. Міністерство сповістило ректора, що на сій збірці де буде обмірковуватись одритий новими правилами доступ поліції на студентські зібрання, поліція не буде. Днів за три генерал-губернатор визвав ректора до себе і пропонував йому замінити на сході поліцію. Але ректор такої чести зрів ся. При виході він зустрївсь у присінку з головою студентів-чорносотенців студентом Владзінским. Губернатор, положивши руку на плече Владзінскому, спитав ректора: „этого милого юношу вы, конечно знаете?“ На сю

демонстрацію ректор відповів: „Да, знаю; єь сожалѣнію этотъ юноша часто вмѣшивается не въ свои дѣла“. Факти у ректора, щоб сказати таку річ, були. Рівно через день ректор був в окрузі і попечитель, ніби то виправдуючись перед ним, почав йому скаржитись: „Этотъ Владзинскій съ ума сошелъ. Онъ принесъ мнѣ для подписи готовый текстъ телеграммы на имя министра, въ которой требуется, чтобы полиція на сходѣь непременно присутствовала, въ противномъ случаѣь отвѣтственность за послѣдствія несетъ министерство. Я телеграмму отправилъ — закінчив попечитель — но слова объ отвѣтственности, разумѣется, отбросилъ“. І само собою розуміеть ся, що поліція була дана.

І ніщо не зможе вернути до памяти наших бюрократів, окрім залізного кулака або аграріів і капіталістів, або їх ідеологів — чорносотенців. Державні інтереси, інтереси народні для них так ніби не існують і зовсім на світі. Скільки разів вже наших фінансістів карало і суспільство і народні представники і навіть суд урядовий за необережне, кажучи делікатно, „обращеніе“ з народнім добром — дарма: „Васька слушаетъ да ѣсть“. Та ще й з таким апетітом, що скоро мабуть в державнім сварбі тільки горобці свистатимуть.

Газетні читачі ще не забули мабуть про паризький вояж осінніми днями Коковцева, про те, як після того чудесно, наче богиня Афродита з морської піни народило ся „Франко-русское Общество Подвижного Состава“ і нарешті про статю в „Росіі“, котра взялась „освѣщать виды и намѣренія“ правительства, а підняла агітацію за те, що не погано було б дати скільки російських залізниць в заставу під заграничні капітали. Читачі також десь памятають, як щиро кляв ся Коковцев всім інтервісрам — що „й я не я й лошадь не моя“ — в Парижі був, і з фінансістами говорив, але про займи зовсім і річи не було. І ось не встиг ще він як слід поділити між прісними паризькі гостинці, як в повітрі фінансовім запахло печеним. Зявилося оте „Общество подвижного состава“ на чолі з такими людьми, як французський фінансіст Руве, пальця котрому в рот навіть його землячки нікому власти не радять і гаманця не показувати, бачимо і бувшого дірктора кредитної канцелярії Вишнеградського. „Общество“ мало в кредит на 20 літ поставляти „подвижный состав“ вагони і паровози — із 7 процентів годових і 2½ проц. „погашенія“, при чім „поставленный состав“ вважаеть ся до кінця термину або до виплати, не ранійше 11½

літ, усієї вартости, власністю кредитора, уступленого на аренднім праві „железнодорожному обществу“. Мало того — нове „общество“ підрядилось „благодѣтельствовать“ і російську промисловість. Вагони і паровози замовлялись російським заводам, а за передачу їм заказу „общество“ брало собі 6% вартости заказу. „Едва ли нужно распространяться, что въ данномъ случаѣ, какъ и во всемъ предпріятіи Рувье, Вишнеградскаго и К-о, писалъ тоді „Товарищъ“, замѣшана казна и что это похоже на скрытый заемъ подъ залогъ подвижного состава русскихъ желѣзныхъ дорогъ, о чемъ давно уже ходили слухи“. А Федоровське „Слово“ оповѣстило, що голова одного із заінтересованих в сій справі російських „предпріятій“ був у Коковцева і скарживсь на нове „Общество“, в результаті чого міністр фінансів обіцяв „принять мѣры“. Приняв він ті „мѣры“ чи ні, трудно сказати. Є дані, що „мѣры“ були прийняті, щоб затерти невдалу комбінацію замаскірованого займа. А натомісь вплив ніби на зло обуреному суспільству проєкт „Росіі“ про заклад російських залізниць. То був пробний камінь з боку урядових сфер, що викликав цілу бурю навіть в нововременськїм болоті: проти проєкта „Росіі“ завищав на всі голоси міністерський братець А. Ст-инъ.

Ні обстоювати в данім разі інтереси російської промисловости або російського скарбу, котрим нове „Общество“ загрожувало серед білого дня грабіжом, ми не хочемо. Нам хотілось би привести один, тільки факт мало кому відомий з недавнього минулого російських державних фінансів, факт, що може освітити всю ту історію справжнім світлом.

В часи всевладного панування фінансового „генія“ Росіі, доброго чи злого, се всім відомо, російське правительство щиро опікувалося капіталістичною російською промисловістю і щедрою рукою роздавало новим і старим підприємствам всілякі субсидії і запомоги. Тоді то і народився окремий тип фінансового шахрайства. Засновувались грандіозні підприємства, одержувались мільйонні субсидії, діло роздувалось, акції „учредителями“ спродувались на швидко — і коли на руках ініціаторів лишались тільки одні капітали — підприємство нагло лопало. Пропадали і субсидії, пропадали і капітали акціонерів. І все ж таки правительство субсидювало далі. Навіть старий бюрократичний „Государственный Совѣт“ обурювався такими порядками. Але зробити нічого не міг. Вітте і С-ка завсїгда уміли викручуватись.

Ось раз з сим фінансістом, котрому так легко, як казав він, всюду довіряла Європа свої трудові грошки, трапивсь „скверний,

анекдот⁴. Появилось нове „Общество“, і один з його учредителів — Руве — зразу затребував у Вітте видати субсидію щось коло 5-ти мільончиків. Як не крутив фінансіст, але видати мусів. Тоді до нього пристав державний контроль — на якій підставі видана величезна позичка, на повернення котрої нема ніякої надії. Діло перейшло в Державну Раду. Члени її почали піддержувати держ. контролера. Тоді Вітте піднявся, виняв з портфеля невеличкого листа Руве до нього і запитав, щоб члени високого зібрання зробили на його місці, як би їм довелось опинити ся в такім становищу, в яке пошав він — міністр фінансів великої Європейської Держави. А лист був лаконічний, але, як кажуть, дуже „выразительный“.

— Я Вам устроював руско-французські займи. А Ви міні не хочете зробити такої дрібнички — видати субсидію для мого підприємства!??

Членам Державної Ради після сього тільки лишалось мовчки згодитись з „генієм“. І Руве почув „субсидію“.

Чи не хтів часом Коковцев, не вважаючи на всю свою антипатію до Вітте і його „геніяльної“ фінансової політики, повторити стару історію з Руве? Чи не через те ж саме, що номер з „Обществом подвижного состава“ не пройшов, „Россії“ приходить ся лякати Росію продажу з публічного торга залізниць?..

Тай що ж тут дивуватись необережному поводженю з народніми грошивами старої бюрократії, коли навіть земство — те саме земство, що так недавно було опорю ліберального руху в Россії стало зброєю для самооборони в руках кушки аграріїв. На своїм недовгим віку міні довелось не тільки теоритично, а і на практиці познайомити ся з роботою наших земств — прослужити деякий час в однім з катеринославських повітових земств. Ще тоді міні кидалась в очі одна ріжниця між земствами на українській території, де дворянство — головний земський елемент — здебільшого чуже, наносне, і великоруськими — де земські круги тісніше національно були звязані з народом. В Великороссії земці більше дбали про народні нужди, більше шанували трудові народні гроші, ніж у нас на Україні. Катеринославське земство було одним із кращих земств в ті часи. Воно широко поставило народню просвіту, земську медицину, агрономію. Культурне катеринославське селянство не могло не оцінити його заходів коло розвою народньої економічної свідомости через земські селянські агрономічні зїзди і плебесцити, через тіж самі школи. Але разом з тим воно тяжко стогнало від земських поборів і не раз отверто заявляло на тих же зїздах і земських

зібраннях, що пани не уміють цінити селянську кошійку, що всі ті блага, якими нагороджує прогресивне земство своїх плательщиків, можна б за дешевше купити. Тодішні земські ленд-лорди — Родзянки з братією, згожувались з селянськими елементами в земстві і наскільки могли, їжились.

Настали конституційні часи. Голод і педород захопив навіть такі золоті куточки Росії, як Катеринославщина, Херсонщина, Полтавщина, Таврія, Київщина, Поділля, Волинь, що раніш самі йще давали од „щедрот своїх“. Здавалось би, тут то і варто б зменшити земські видатки до мінімума, бо земська каса і без того порожня. А що ж ми в дійсности бачимо? Земські ленд-лорди тратять останні грошики народні на оборону своїх латифундій од голодаючого селянства, од хуліганів, і не тільки не зменьшують, а й ще побільшують земські бюджети.

Полтавське земство асігнувало скілька тисяч на поліцію і оголосило премію в 300 карбов. за кожного палія, якого буде спіймано. Херсонські повітові земства асігнують по 50 тисяч на організацію поліції. Александровське (Катерин. г.) земство — одне з найкращих земств, що жило раніше традиціями Карішева, асігнувало 10 тис. на чорносотену літературу. Губ. катеринославське земство призначило 105 тис. на поліцію, в тім числі на сискуну в повітах, і 20 тисяч на чорносотену газету „Руская Правда“. Київське земство постановило „отпустити изъ страхого капитала, образующагося изъ крестьянскихъ взносов 24,000 руб. для выдачи наградныхъ полиціи и крестьянамъ за обнаруженіе и задержаніе преступныхъ лицъ“.

Що тепер скаже селянство своїм земским ленд-лордам? Чи подякує йому за ті асігнування на охорону панських маєтків, а само буде сидіти без хліба і без насіння, чи може пристане до тих самих паліїв, грабіжників і хуліганів, що не дають спокійно спати ситим аграріям? Коли станеть ся се останне — нічого дивного не буде. І вина за нові грабіжки панських хлібних гамазей впаде не на селян і їх представників в земстві, а на д. д. Карпових і Родзяннів.



БІБЛІОГРАФІЯ.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка наукова часопись, присвячена передовсім українській історії, фільології й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією Михайла Грушевського. Рік XVI. т. LXXX. 1907, кн. VI. Ст. 239.

Остання книжка сього річника „Записок“ і якістю і характером поміщеного в ній матеріалу вповні стверджує виписаний в горі заголовок. Тут в менш більш однаковій мірі маємо заступлені всі дисципліни, яким журнал присвячений: історія, фільологія і фольклор. І так по історії маємо дальшу статю д. Ол. Грушевського з задуманого ним інтересного циклю „По ватастрофі 1708 р.“, а власне: Военні роботи (с. 19—35). Як вже з самого заголовка видно, статя займаєть ся справою участі української людности в різних фортифікаційних роботах, найтяжшого обовязку вкладеного на Україну правительством на річ російської держави. Статя поки що далеко не вичерпує дотичного питання, бо обговорює головню фортифікаційні роботи при укріпленню Києва. Беручи річ з формального боку, то ті роботи не були безпосереднім результатом ватастрофи 1708 р., бо почали ся ще в 1703 р. Се зрештою вважаєє почасті сам автор кажучи, що коли роботи з перед 1708 вважали ся чимсь екстраординарним, то опісля вони прибрали характер зовсім звичайного і природного обовязку. Дальша статя як обіцає автор, буде присвячена участі української людности в роботах при ладожському каналі.

Дальша з ряду історична праця, се студія д-ра К. Студинського „Польські конспірації серед руських питомців і духовенства в Галичині в роках 1831—46“ (с. 53—108). Праця обіцає дуже багато інтересного, бо написана на підставі богатого матеріалу, зібраного автором в архівах: міністерства внутрішніх справ у Відни, намісництва у Львові і львівським митрополічим. Подавати які небудь близші уваги що до сеї статі булоб передчасно, бо праця далеко ще не скінчена. Одно все таки зазначимо, що можна вже і по даній досі частині замітити, а власне доволі тенденційне, чи може тільки надто суб'єктивне становище автора супроти одной групи факторів, які в розгляданих автором подіях виступають. Се можна пояснити хіба або односторонністю матеріалу на яким автор опер ся або і браком належного зрозуміння історичної перспективи.

По історії літератури й фільології маємо тут дві статі: д-ра Франка „Причинок до студій над Острожською Біблією“ (с. 5—18), де автор робить порівнянні студії над знайденим ним рукописним фрагментом книги Ездри і дотичним місцем в Біблії, і докінченне статі д. Огієнка „Огляд українського язикознавства“ (с. 36—52), де подано розгляд фільологічного боку 5 українських словарів з кінця XVIII і початку XIX ст. Розвідка д-ра Кузелі „Причинки до народніх вірувань з початком XIX ст.“ (с. 109—124), в якій

автор займаєть ся народніми віруваннями про упирів, вкінчає відділ статей. З заміток в *Miscellanea*-х звертаємо увагу на д-ра Томашівського „Замітка до пісні про Штефана воеводу“ (с. 128—135) і солідну статью д. Гнатюка „Як писати заіменник ся при дієсловах“ (с. 135—152) — окремо чи разом? Автор на підставі зібраного значного матеріалу так з нашої мови починаючи з давних часів і інших словянських мов доказує, що *ся* слід писати окремо від дієслова. Стаття крім наукового має ще і практичне значінне, як причиною до розв'язання питання про усталенне українського правопису по сім і по тім боці кордону. Наукова хроніка, подала огляд наукових часописів російських і польських за р. 1908. Отся власне збірня праця, в якій приймав участь ряд співробітників „Записок“, подає так сказати квінтесенцію того усього, що в дотичних журналах було про Україну написано, або бодай посередно її дотикало.

В відділі бібліографії подано рецензії й справозданне з 25 книжок, як звичайно.

Ів. Джиджора.

Твори Тараса Шевченка. Кобзарь. Том I (1838—1847), виданий під редакцією Івана Франка, Львів, 1908, ст. X+439+2 н. (Українсько-руська бібліотека, видає фільологічна секція Наукового Товариства ім Шевченка, т. VI). Ціна 3 кор. без оправи.

Ще три роки, а зустрінемо ся з полувіковими роковинами смерти Шевченка (1861 — 1911) і ще шість літ. а пройдуть столітні роковини його приходу на світ. Оба моменти не можуть пройти і минути непомітно для українського громадянства. Безсумнівний факт — в цілій історії України не багато було сильніших індивідуальностей над Шевченка і се присилує теперішнє покоління звести при недалеких ювілеях рахунки з нашого національного життя за останнє століття, а перед усього в'яснити докладно становище самого поета і його значінне в українській літературі. Звісно, що поперед усіх дослідів мусіли ми мати повне виданне всеї письменської спадщини Шевченка. Львівське Наукове Товариство, що носить імя поета, рішило ще заздалегідь, 1905 р. приготувати і видати перед ювілеями таку збірку Шевченкових творів, тим більше, що останній *Кобзарь* виданий Товариством з науковою маркою (ред. Огоновського, 1893) розійшов ся до того часу, так само инше виданне „Просвіта“ (ред. Романчука, 1902) популярне, хоч із деякого боку краще попереднього. Редакцію нового критичного, з усяким науковим апаратом, поручено д-ру І. Франкови, який перед тим зрадагував два томи творів Федьковича (*У.-Р. Бібліотека*, т. I і III). Нове виданне *Кобзаря* (се було головно на меті) протягло ся одначе дещо, вийшло два роки після рішеня. Причина тому була ся, що 1906 р. приніс велику несподіванку: цілий ряд нових, доси незнаних Шевченкових поезій, багато варіантів та мало не комплет автографів поета. Одночасно почали приготувати ся нові видання в Петербурзі, між тим одно також повне і критичне (під ред. Доманицького). Сей наплив нових матеріалів здержував д-ра Франка, силував зводити нові варіанти, реконструувати текст на

основи автографів і т. ин. Не диво також, що частину нових матеріалів здобув редактор вже після того, як було надруковано значну частину, так що прийшлося зводити варіанти в передмові. Праця отже була не легка, не могла бути постійною і раз-у-раз ударяла на різні перепони. Все таки автор умів їх поборювати великим навадом праці і дати гарне і солідне видання першого тому. Розуміть ся, вкінці появили ся деякі недостачі і похибки, деякі дрібні недобаченя і lapsus-и, всеж таки воно перевисшає дуже значно все те, що дали дотеперішні видання, не рахуючи критичного з під ред. Доманицького. Так як тепер стоїть справа, показуєть ся, що остаточне вповні наукове і критичне видання ще тільки перед нами: воно буде зроблене на основі двох, дра Франка і В. Доманицького. Маємо надію, що до 1914 будемо його мати в руках, а спорудити його прийдесть ся мабуть не кому иншому як Українському Науковому Товариству в Києві.

С. Томашівський.

Зоря нового життя. *Комедія на 4 одміни А. Ф. Кащенко.* Полтава, 1907. Ст. 84, ціна 30 коп.

Драма — вища артистична творчість, переживає в нашій літературі кризу. Старі письменники-драматурги зійшли зо сцени життя, нові народили ся. Правда, останніми часами появило ся кілька драматичних творів, про які можна говорити, яко про художні, літературні речі, але за для сцени, за для демонстрації в театрі вони цілком не придатні. Трохи чи не одинокий твір д. Черкасєнка „В старім гнізді“, про який можна говорити, яко про літературну річ, придатну до вистави, визнано „неудобнимъ къ представленію“, а те, що появило ся в друку опріч сієї пєси і що цензура визнала „удобним“, то все таке здебільшого, що немає нічого спільного з художними творами.

До таких річей мусить бути зарахована й комедія д. Кащенко „Зоря нового життя“. Годі переказувати зміст сього антихудожнього з усіх боків твору: шкода на се часу, шкода праці й місця. „Зоря“ д. Кащенко, се український „лубоць“, подібний до тих московських лубків, які так широко росповсюджує й по Україні так званий Нікольський ринок. Лубок д. Кащенко одріжняєть ся од лубків, що видають Губанови, Ситіни та инші, хіба тільки тим, що тут нагороджено „великих слів велику силу“, слів фальшивих, про любов та працю для рідного краю, що тут немає того специфічного патріотично-„кієвлянинського“ духу, який містять в собі де-які видання Нікольського ринку. Але є де-яка дециця специфічного патріотизму українського і в „творі“ Кащенко. Так, наприклад, один з персонажів, що Василем зветь ся і що дістає освіту у вищій школі каже: „На тих ґрунтах, що прадіди наші поливали своєю кровю тепер господарюють Німці і инші чужеродці“. Яка наука випливає з такою виразу, коли не надати йому певного освітлення, поясняти звичайно немає потреби.

Комедія д. Кащенко повинна бути визнаною за непридатну не тільки для вистави через те, що вона позбавлена найменшого

хисту, вона непридатна також і для читання, бо в ній провадять ся цілком хибні думки і що до інтелігенції і що до городян („панів“) взагалі: „усі пани (по контексту — городяне) мають нас простих людей за якусь тварюку“ говорить автор устами дівчини селянки, яка повинна відігравати позитивну ролю по песі. Такі й подібні думки зустрічають ся не рідко на протязі цілого твору. Але за те селян автор ідеалізує на кожному кроці: „мужик ніколи не скривдить нікого так, як який пан“ — говорить таж таки дівчина.

Та не кажучи вже про такі неправдиві, а по части й шкідливі думки, що провадить Кащенко у своєму творі, думки які малоосвічений читач буде витолковувати як йому до вподоби, твір сей треба вважати некорисним ще й тим, що се цілковита суцільна — фальш, без жадної іскорки артизму або хоч якої такої реальної правди, а значить у недосвідченого читача він не розвигатиме артистичне почуття, а псуватиме його.

Гр. Сьолобоцький.

Юрій Кміт. *З ир*, 1907, Львів, ст. 92.

Є річі, котрі чоловік почув, а потім відіграв на скрипці, і є річі записані в фонограф. Дуже мало вони подібні до себе, але і та і та мають вартість. Сей збірничок новель — от се і єсть запись фонографічна; иноді вирост дивуеш ся — яким способом записував автор всі свої розмови. Там, де він говорить „від себе“, бачите як чоловік спішить, мов говорить: „чекайте но, я не те зовсім хочу сказати“. Він обмежує ся на короткі реченя, число сих речень зменьшує до мінімум'а, але от підійшов до монольога чи діалога — і тут уже розсипає всі скарби народної річи. Народної, в повнім і чистім значіню сього слова. Так, як стоїть в сій книжечці — так може говорити тільки народ і ніхто більше. І власне в тім висока ціна оповідань Ю. Кміта. Не шукайте в них ні широких гадок, ні фантастичних завязок і ще більше фантастичних розвязок, взагалі не прикладайте сюди звичайних зайлосених літературних мірок, так вигідних і для автора і для критика (котрі тепер відіграють ролі кравця і купця: один по мірці шие, а другий, купуючи, дивить ся чи добре прилягає його міра). Ні, ви дивіть ся на автора як на інтелігентного чоловіка, котрий попав в далеке, Богом і людьми забуте село і котрий хотів би розказати тим усім заклопотаним і обтяженим мійськими турботами людям о тім, як живуть люде в сім куточку гір, як вони говорять, які їх інтереси. І от ставши на такий погляд, спитайте — чи можна ліпше зробити свою роботу? Автор і не претендує на широту, глибину і всякі такі річі, до котрих допинають ся панове літерати; ні, він просто каже: моя робота маленька, але кожний повинен робити своє діло як найліпше. І справді робить. Яке богатство висловів, яка оригінальність оборотів! І як треба такі річі читати власне російським Українцям, вихованим на шаблєонах мови, переконаним, що коли хто пише не так, як говорять „в нашім повіті“, то се вже нікуди не годить ся. Та що, впрочім, і говорити про пересічного читача, котрий з української літерату-

ри на всім своїм віку прочитав п'ять книжок „визданій Петерб. Благотворительнаго Общества“, коли письменники і публіцисти, сіль землі нашої нараз піднімають гвалт про „галицьку“ мову, в дійсности не маючи про неї найменшого поняття. І от як би такі книжечки, як ся, доходили до ширшої публіки на російській Україні, кожний міг би наочно переконатися як часом мало буває смислу і... сорому у панів газетарів. Наша мова богата, цвітиста, розмаїта; скільки відтінків, скільки красоти в її говорах — і скільки перед літератами лежить вдячної, хорошої роботи — зеднати то все в одну богату, красиву, могутню мову! А у нас якийсь панок з-під Конотопа правдами і неправдами дістанеться до друкарського станка і — починає писати про чорну галицьку хмару, „ми того не розуміємо“, „у нас у семнариі того не вчили“ і т. д.

Хотів би привести на закінченне хоч пару зразків мови та не знаю звідки й взяти, таке воно все кольорове, оригінальне. І такі оригінальні відносини між тими всіма людьми — живі люди перед вами. От, напр., молода жінка при старім чоловіці; хочеться їй на весіле, але не хоче уклонятися старому та просити ся: „Мене кортить погуляти — аж ноги лоптять. Ни відчиню губи. Пішов з братовов. Не можу знайти си місця. З хати на двір, відти до хати. Торваю старого (тестя) за ногу: Тат-тату! Що би я вас просила; пустіть на на весіля. — Га, дітино, коль тебе газда ни взяв, я ни можу мішпати ся до того. Положи ся — з тов бідов мож спати. — Добре тобі, старуху, белендіти, а в мене ноги з горячки аж підскакуют. Ситий голодного ни розуміє, а старий молодого. Певно погадай си газда: глупе взяв, ни поведу межь люди. Няй сидит на запічку“ і т. д. Або от жінка розповідає, як у сусіда хорував хлопець „на задавку“ (дифтерит) та й видужав, а зараз же по тому захорував її, оповідачки, хлопчик. Ну, річ ясна що „ворожильник з одного взяв, а на другого переслав“. Пішла баба до того ж таки ворожильника, але він „завертів ся... за пізно, каже, приходиш“. Але всеж дав пити якесь коріне і зіле. Спочатку ніби трохи полекшало, але потім — „стала дитина завертати очима, пружьати ся; збіліло як полотно. Прийшла ніч една, друга, свічку, сідзьу — дівчак страшенно мучить ся. Очи слипакт си як би ми хто вкинув соли до них. Бодай би того ворожильника лихо прало! Де в нього сумління? Нагнати таку муку на янголятко. Ни мав скалів та дибрів... Сідячки здрімнулам ся. Привидівми ся старий дід. — Відхилив двір і каже: Чьо спиш? Іди і шьий сорочьку дівчачькови, бо зараз умре... Буджу ся напрасно спуджена. Воно дуже мучить ся. Іду, беру полотно, іглу, нитки і шью як будь, бо спати хочу. Ни витрималам і задрімала. Раптом прочув ми ся жылісний крик: Мамо, мамо!.. Зриваю ся до дітини — ни живе... Я чомусь так тужыла, що аж дур голови брав си. У ночі були мої цицьки моврі — приходило бідне з цвитаря ссати. Дораяли взяти кильшонок з водов, піти на цвитарь, підняти глини з гробу, вимішпати і випити. Я так зробила і відступила суята. Всяка мара товче ся по світї“...

Ей та де би то все списав! Ні, таки спасибі д. Кмітови за його роботу. Варто би більше про то написати, але най буде коротеньке слово, але щире.

Гн. Хоткевич.

Л. Яновська. *Без віри.* Драма на 5 дій, 6 одмін. Київ, 1907. Стор. 67. Ціна 15 коп.

Песа п. Л. Яновської „Без віри“ оброблює цікаву психологічну тему. Колізією в її служить те розладде ніжно-чулої душі, що буває результатом ламання вироблених життєвих принципів людини для якогось тільки хвиливого поривання серця.

Марія Дмитрівна, жінка старшого нотаря-карієриста, героїня драми „Без віри“, живучи з нелюбим чоловіком, уже в 32 роки такий песімістичний погляд виробила на життє, що стала зовсім якоюсь неймовірою, скептиком, почала жити, так мовити, „без віри“. „Я не вірю нікому, — признаєть ся якось вона сама. — Колиш я вірила в Бога, тепер же... тепер я не знаю... я бою ся допитувати себе, людям же я не вірю, нікому, ніяк не вірю... Я бою ся вірити, бо бою ся, щоб хто небудь не посміяв ся з моєї віри, але потреба вірити не вмерла і вноді охоплює душу з такою силою, що, здаєть ся, шів життя оддалаб, аби так вірити кому небудь, як вірило ся колись всім казкам бабусі“ (стор. 14). І тут ще прийшла сповуса такої лехводушности Марії Дмитрівни. Художник Лев Григорович, досить молодий чоловік, що саме в повному розцвіті і фізичних і духовних сил задумав намалювати для конкурсу картину — символ життє, і для сеї картини йому треба образ вродливої жінки, яка б символізувала собою саме життє. Він недавно познайомив ся з Мар. Дмитр. і йому здалось, що вона й є той образ. „Два роки блукав я, як непритомний, — сповідаєть ся він перед нею, — шуваючи такого образу, який би відповів моїй думці; два роки сновигав я по світу за тим образом. Нарешті я зустрів вас“... (стор. 6). Йому треба, щоб Мар. Дмитр. згодила ся позувати для його картини в самій сорочці. Вона, вірна традиціям супружного життє й живучи „без віри“, довго не піддаєть ся його намовам. Тоді Лев Григорович прикидаєть ся, що любить її. Мар. Дмитр. все вагаєть ся, але „потреба вірити охоплює її душу з такою силою“, що вона нарешті таки не витримала — поняла віри всім улесливим обіцянкам художника „повести її в країну, де панує сама краса та воля“ (стор. 49), згодила ся позувати. Колиж картина була вже майже скінчена і мета таким чином досягнена, Лев Григор. одсахнув ся од Мар. Дмитр. „Що є гидчого, мізернішого за завохану жінку? І Бога свого, і совість, і дітий — все одурить, зневажить в решті решт, як би довго не торгувала ся“ (стор. 62), — до такої думки тепер дійшов він. Як прийшла Мар. Дмитр. до його в останне, він уже не вважає її за образ своєї конкурсової картини, а тільки за „ту канву, яку викидають геть, скінчивши шитво. Я взяв од вас тільки те, що потрібне було міні задля власного ідеалу, — в вічі уже їй каже він, — решту-ж я ненавидю в вас, як ненавидить архітектор остачу цегли, що зістаєть ся після його будівлі, як ненавидить скульптор ту остачу

мармору, що падає з під його долота"... (стор. 66). Мар. Дмитр., ще весь свій вік „бояла ся вірити, щоб часом хто небудь не посьміяв ся з її віри“, гірко була покарана за першу ж зраду своєму життєвому принципowi. Серце її запалало гарячою вірою — коханнем, але без взаємного спочуття, і вона в одній нищить ту нещасливу картину, а сама заколюєть ся винджалом...

Ось в загальних рисах увесь зміст драми п. Л. Яновської. Головні дієві особи — Марія Дмитрівна, її чоловік нотарь-карьерист, художник Лев Григорович — змальовані яскраво, особливо тип самої героїні пєси. Інші особи так само змальовані влучно, з їх характерними особливостями, і являють ся всі „на місцях“. Розмови в пєсі короткі, без зайвої велемовности, і хоч почасти панують над самою драматичною дією; загальне вражіння од пєси зостаєть ся приємне, закінчене. Інколи тільки занадто недовга дія псує трохи судильність переживання, немов би в їй щось не дописано. Потім якось несамохіть звертає на себе увагу ще те, що в драмі п. Л. Яновської „Без віри“ дуже багато монологів. Сі монологи в пєсі виявляють перед глядачем краще психологію дієвих осіб, але се дуже нагадує драматичні писання старої сцени, коли мало зважали на реальність і натуральність дії. Особливо шкодять монологи останній дії.

Гр. Трейман.

Задачи социалистической культуры. *Издание и переводъ Б. Резина и Постмана въ Берлине. XII. Фр. Герцъ — Социализмъ и национальный вопросъ. Переводъ съ рукописи. СПб. 1907 г. стр. 71, цѣна 20 коп.*

Свою „розправу“ — так називає автор брошуру в 71 стор. — Фр. Герц починає аналізою поняття нація. Зазначивши, що воно, як і поняття всякого організму не допускає ясної і вичерпуючої дефініції, Герц спиняєть ся на кожній із звичайно вживаних основних прикмет нації, на мові, території, традиціях, антропологічних темах і т. и. і приходить до того висновка, що з окрема ні одна з сіх ознак не вичерпує поняття нація. „Мова, територія, держава, традиція, релігія, раса — такі основні моменти, що обєднують націю, і треба їх не меньше двох для утворення нації“ (стор. 21). Чому не меньше двох, про се не знати. „Але, зрештою, — каже д. Герц — все залежить од історичних умов“ (стор. 21), і додає: „в усій тій ріжноманітності про те не важко відерити де що спільне, справжню суть нації, а саме, бажанне провадити спільне і тісне життє на протязі довгого часу, почуття, природного звязку“ (стор. 21).

Прийшовши до такого висновка, Герц переходить до розгляду, які форми і напрямки має національне почуттє, національна самосвідомість, націоналізм у сучасних народів. Широка тема! Вірний своїй звичці Герц говорити багато про все належне і неналежне до діла, часами пускаєть ся на дно історії, часами спиняєть ся на поглядах окремих видатних осіб (напр. 8 стор. його невеличкої брошури присвячено викладови націоналізму Фіхте), за все хапаєть ся і нічого не виясняє докладно. Та особливо дивно у автора соці-

ялдемократа чути балабанину про націоналізм цілих народів. Так наче б то сучасні народи щось соціально однорodne, наче б то сучасний економічний лад не проводить глибоких різниць, контрастів у соціально-економічному стані, в психології, в поглядах і почуттях окремих громадських груп наших часів.

Памятаючи се не сказав би Гертц, що „не змаганне стати світовою державою зробило Англію великою, а принципи права і свободи для людей всіх рас і всіх націй“, що національне змаганне в Англії може рахувати „на шляхотне і справедливе відношенне“. (стр. 27).

А Ірляндія? а Індія? І тут справедливе і шляхотне відношенне, і тут принципи права і свободи?!

Правда англійське правительство дає трохи більше волї своїм кольоніям — навіть часами дуже широку волю, ніж правительства інших країн. Та не принципи права і свободи привели і раз по раз і тепер ще приводять його до такого поведіння, а гіркий історичний досвід, що гальмуванне розвитку кольоній веде тільки до втрати багатих кольоній як стало ся з Північною Америкою в кінці 18 ст.

Та коли не можна говорити про принципи права і свободи як основу політики англійського правительства, то ще менше підстав для обвинувачення цілого англійського народу всіх класів його в джінгоїзмі та імперіялізмі. Не трудящі і експлоатовані класи дають напрям і зміст англійській політиці і не на їх падає сором за Індію та Ірляндію.

Присвятивши дуже багато місця націоналізмови головних сучасних народів, Гертц майже лишив без розвязки тему своєї „розправи“. Зробивши — не відомо для чого — кілька нападів на ортодоксальних марксистів, не показавши, як той чи инший напрям націоналізму утворює сучасну національну проблему, не виясвивши її природи, автор ех абгурто кидає, що „всяка проба зробити з національного почуття культурний мотор повинна мати міцний звязок з соціалізмом“, і на сьому кінчає свою працю.

От через що Гертц мусів до своєї „розправи“ зробити невеличкий додаток (8 стор.), в якому робить пробу розвязати сучасне національне питанне. Ся частина брошури робить краще вражінне, але тим, що тут автор властиво повторяє думки Р. Шпрінгера, виложені в його книжці „Боротьба австрійських націй за державу“, Відень 1902 р.

Правда, Гертц не робить ніяких обмежень, які сам Шпрінгер зробив до національної нетериторіяльної автономії і які звели її до національно-територіяльної автономії. Отже можна думати, що Гертц визнає можливим національну нетериторіяльну автономію перевести в житте і вважає її з погляду соціалізму одинокою формою розвязки національної проблеми.

Та і в додатку діло не обійшло ся без куріозів. На останній сторінці (71) Гертц „ничтоже сумняше ся“ заявляє, що „розвинена

нами (?) програма в основних своїх рисах однакова з вимогами виставленими австрійською соціальною демократією на Берненському зїзді“ се на тому ж самому зїзді, де бороли ся між собою національно-територіяльна і національно-нетериторіяльна автономії і де була принята перша, а друга одєинена! Треба було самим редакторам і видавцям мало що тямити в національнїм питанню, щоб видати сю схиблену „розправу“.

М. Порш.

Книжки надіслані до редакції.

Етнографічний збірник. Видає етнографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка. т. XXII. Галицько-руські народні мелодії зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич. Часть II. у Львові, 1907. Ст. 8 + 208, 8^o. Ціна 6 кор.

Chronik der ukrainischen Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. Bericht für die Monate: Mai-August Jahrgang 1907. № 31. Heft III. Львів, 1907. Ст. 46, 8^o. Ціна 30 сот.

Микола Венґин. *З життя гімназистів*. Нариси і оповідання. Львів, 1907. Ст. 52, 16^o. Ціна 1 кор. Зміст: 1) Кваски. 2) Знайшов товариша. 3) На павзі. 4) Загар. 5) Сьвято Кружковців. 6) За шевця. 7) Драгоманівське сьвято. 8) Судьба інструктора. 9) Перша любов. 10) Не дістали снідання.

Проч із шляхтою! *Проч із єї постіпаками!* (З протоколу стенографічного Ради державної у Відни з дня 22 липня, 1907 р.). Промова д-ра Кирила Трильовського, посла до ради державної. Львів, 1907. Ст. 40, мел. 8^o. Ціна 24 сот.

Билина про лихо Муромця і єго славні подвиги. (Видане Руского тов. педагогічного. ч. 135). Львів, 1907. Ст. 24, 16^o. Ціна 16 сот.

Т. Ярославенко. *Пісні на мужеський хор*. Ч. 5. Не пора, І. Франка. (Музична накладня). Львів, 1907. Ст. 4, 8^o. Ціна 40 сот.

Т. Ярославенко. *Пісні на мужеський хор*. Ч. 6. Ви хотіли б спинить, П. Карманського. (Музична накладня). Львів, 1907. Ст. 4, 8^o. Ціна 40 сот.

Т. Ярославенко. *Калина*. (Народня пісня). (Музична накладня. Ч. 50). Львів, 1907. Ст. 4, 4^o. Ціна 70 сот.

Т. Ярославенко. *На хлопську жуту*, Б. Лепкого. (Музична накладня. Ч. 48). Львів, 1907. Ст. 4, 4^o. Ціна 70 сот.

Т. Ярославенко. *Гей закуй мені зозуле*, В. Пачовського. (Музична накладня. Ч. 49). Львів, 1907. Ст. 4, 4^o. Ціна 60 сот.

Frant. Pastruck. *Rusini jazyka slovenského* Odprovéd panu Vlad. Hnatjukovi. (Отдѣльный оттискъ изъ „Сборника по славяновѣдѣнїю“. II.) С.-Петербургъ, 1907. Ст. 20, 4^o.

Українській скипидарь. Е. С. Грибинюка. (Отдѣльный оттискъ изъ журнала „Вѣстникъ Общественной Гигиены, Судебной и практической Медицины“). С. Петербургъ, 1907. Ст. 26, 8^o.

А. Зачиняев. *Къ вопросу о коломыйкахъ.* (Отдѣльный оттискъ изъ Извѣстій отдѣльня рус. яз. и слов. имп. Академіи Наукъ, т. XII (1907, кн. 1). С.-Петербургъ, 1907. Ст. 126, 8^о.

Філярет Колесса. *Ритмика українських народніх пісень.* (Відбитка з 69, 72—74, 76 т. „Записок“). Львів, 1907. Ст. 254, 8^о. Ціна 4 кор.

Село Мшанець Старосамбірського повіта. *Матеріали до історії галицького села.* Зібрав Михайло Зубрицький). Відбитка з 70—71, 74 і 77 т. „Записок“). Львів, 1907. Ст. 184, 8^о. Ціна 3 кор.

По натастрофі 1708 р. *Розквартированне російських полків на Україні.* Написав Олександр Грушевський. (Відбитка з 78 т. „Записок“). Львів, 1907. Ст. 22, 8^о. Ціна 40 сот.

„Архагелови вѣщання Марин“ і благовіщенська містерія. *Проба історії літературної теми.* Написав др. Іляріон Свенціцький. (Відбитка з 76 — 77 т. „Записок“). Львів, 1907. Ст. 76, 8^о. Ціна 1⁵⁰ кор.

Фальшованне метрики для польських повстанців з 1830 — 31 рр. Причинок для характеристики галицько-руського духовенства першої половини XIX ст. Подав Іван Кривецький. (Відбитка з 77 т. „Записок“). Львів, 1907. Ст. 8, 8^о. Ціна 15 сот.

Генрік Ібсен. *Ворог народові.* Комедія на 5 дій. Переклала М. Загірня, у Києві, 1907. Ст. 116, 8^о. Ціна 30 коп.

Генрік Ібсен. *Підтори громадянства.* Комедія на 4 дії. Переклала М. Загірня. У Києві, 1907. Ст. 116, 8^о. Ціна 30.

Генрік Ібсен. *Примари.* Семейова драма на три дії. Переклала М. Загірня. У Києві, 1907. Ст. 76, 8^о. Ціна 30 коп.

Маріс Метерлінк. *Монна Ванна.* Песа на три дії. З французької мови переклала М. Загірня. У Києві, 1907. Ст. 76, 8^о. Ціна 30 коп.

Октав Мірбо *У золотих кайданах.* Комедія на 3 дії. З французької мови переклав Б. Грінченко. У Києві, 1907. Ст. 122, 8^о. Ціна 35 коп.

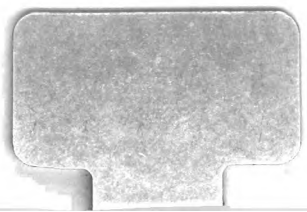
В. Левинський. *Що таке соціалізм?* (Червоний прапор. ч. 1). Львів, 1907. Ст. 48, 8^о. Ціна 10 сот.

Мирослав Стечишин. *Суд панів над робітником.* Процес тов. Гайвуда. (Червоний прапор. ч. 2). Львів. 1907. Ст. 16, 8^о. Ціна 6 сот.

Як соціаліст боронив хлопів в віденському парламенті. Промова посла тов. Яцка Остапчука при генеральній бюджетовій дебаті дня 21 грудня, 1907 (Червоний прапор. ч. 3.). Львів, 1907. Ст. 32, 8^о. Ціна 10 сот.

Сірий Юр. *Де що про світ божий* (Бесіди по природознавству), з 65-ю малюнками. Видавництво Є. Череповського — Популярна наукова бібліотека № 1. Київ 1908, ст. 112. Ц. 30 к.

Т. С. Суліма. *Дячиха.* Комедія на 4 дії. Київ 1908, ст. 50. Ціна 25 коп.





3 2044 079 291 407

